ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДЖЭКА ЛОНДОНА

ТОМ VI КНИГИ 10—11

ИГРА

ПЕРВОБЫТНЫЙ ЗВЕРЬ

ПОВЕСТИ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Н. УТКИНОЙ и Л. БРОДСКОЙ

СИЛА СИЛЬНЫХ

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
С. С. ЗАЯИЦКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
„ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ“
МОСКВА — 1928

JACK LONDON

THE GAME
THE ABYSMAL BRUTE
THE STRENGTH OF THE STRONG



Jack London

1876-1916

ОБЛОЖКА А. МОГИЛЕВСКОГО

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ"
ПИМЕНОВСКАЯ, 16, В КОЛИЧ.
70.000 экз. ГЛАВЛИТ № А—13740
1928

ДЖЭК ЛОНДОН

И Г Р А

ГЛАВА I

Образцы ковров—их была целая груда—лежали перед ними на полу. Они уже остановили свой выбор на двух брюссельских коврах, но десятка два разноцветных толстых бобриков еще приковывали их внимание и не давали заглохнуть спору между желаниями и скромным кошельком. В виде особой чести, сам заведующий отделом показывал им товар, при чем Женевьева отлично понимала, что честь эта оказывается одному только Джо. Уже при подъеме на верхний этаж она ясно заметила тот робкий восторг, с которым глазел на него, широко разинув рот, мальчуган при лифте. А когда она шла рядом с Джо по улицам западной части города, прилегающим к их кварталу,—от ее внимания не могло ускользнуть то почтение, с каким провожали ее спутника взоры подростков, встречавшихся по пути.

Заведующего отозвали к телефону, и мечтания о коврах и докучливые напоминания о тощем кошельке внезапно оттеснились напором более важных сомнений и тревог.

— Но право, Джо, я совсем, совсем не могу понять, что тебя там так привлекает,—сказала она тихо, и нотка упорства, прозвучавшая в этих словах, говорила о том, что недавний спор ее не удовлетворил.

На одно мгновение мальчишеское лицо Джо омрачилось, но тотчас же на нем появилась нежная улыбка. Он, как и она, был еще совсем молод—два очень молодые существа у порога жизни, устраивающие себе гнездо и выбирающие ковры для его украшения.

— Что за охота тебе беспокоиться,—тихо заметил он.—Ведь это мое последнее, самое последнее выступление.

Он улыбнулся, но в этой улыбке ей почудился еле слышный, невольно вырвавшийся грустный вздох отречения. Инстинкт монопольного права женщины на своего мужчину отталкивал ее от того, чего она не понимала, но что целиком захватило всю его жизнь.

— Ты ведь хорошо знаешь, что моя прошлая встреча с О'Нейлем целиком покрыла последний взнос за мамин дом. А вот сегодняшняя

встреча с Понта должна дать чистых сто долларов,—приз ведь в сто долларов нам для начала очень кстати.

Ссылка на материальную сторону мало на нее подействовала.

— Но ведь ты любишь ее, любишь эту... эту «игру», как ты ее называешь. Почему ты ее так любишь?

Для выражения своих мыслей у него вообще никогда нехватало слов. Выражать их он умел только руками, работой, телом своим и игрой мускулов на середине вымеренной арены. Но объяснить словами всю притягательную силу этой арены он был не в состоянии. Тем не менее, вначале сильно запинаясь, он решил выразить все то, что ему приходилось испытывать и анализировать в самые вдохновенные минуты игры.

— Женевьева, я знаю только одно—знаю, как хорошо на арене, когда справляешься с противником, когда видишь, что у него наготове два удара, и ты парируешь их,—когда ты в свою очередь наносишь ему хорошенький ударчик, от которого он шатается и еле держится на ногах, так что рефери его оттаскивает, а ты уж опять можешь подступить и прикончить его. А публика орет от восторга, и ты сознаешь, что оказался лучшим бойцом, и знаешь, что дрался честно, а победил противника потому, что из двух— ты лучший боец. Я тебе говорю...

Он вдруг оборвал свою речь, испугавшись и своего неожиданного словоизвержения и встревоженного взгляда Женевьевы. Пока он говорил, она внимательно следила за выражением его лица, и на ее собственном лице вырисовывался испуг. В то время как он описывал эти торжественнейшие для него минуты, перед его внутренним взором вставали и шатающийся противник, и яркие огни, и аплодирующая публика, и все дальше и дальше уносился он от нее этим стихийным потоком, столь для нее непонятным, столь грозным и непреодолимым, превращающим ее любовь во что-то жалкое и слабое. Отступал куда-то тот Джо, которого она так хорошо знала,— стушевывался, терялся в пространстве. Исчезало свежее юношеское лицо, исчезали нежность его глаз, мягкость его красиво-очерченного рта. И взамен выступало перед ней лицо зрелого мужа—лицо стальное, напряженное и неподвижное; рот стальной, с губами сжатыми, как капкан; глаза стальные, расширенные, сосредоточенные,—даже блеск их и ясность были блеском и ясностью стали. Лицо зрелого мужа,—а она до сих пор знала только его юношеское лицо. Этого нового лица она совсем не знала. Оно пугало ее, но вместе с тем смутно рождалось в ней чувство гордости. Его отвага—отвага воинственного самца—непреодолимо влекла в ней женщину, рядом поколений воспитанную в сознании необходимости найти себе в пару сильного человека, надежного, как каменная стена. Но она все же

не понимала этого влечения,—влечения, что так настойчиво подчиняло его себе и так властно воздвигалось выше ее любви. Но вместе с тем ее женское сердце как-то сладостно томилось в сознании, что ради нее и ради любви он отказывался от чего-то очень для него важного и, выступая сегодня в последний раз, уже более не вернется на арену.

— Миссис Сильверштейн совсем не одобряет бокса и очень сурово о нем отзывается, а ведь она кое-что смыслит.

В ответ он снисходительно улыбнулся, скрывая горечь, не раз уже испытанную, ибо она совершенно не понимала этой стороны его жизни, которая, в его глазах, являлась предметом заслуженной гордости. Успехом он был обязан собственному упорству и напряженному труду. Отдавая всего себя Женевьеве, он, в сущности, только это повергал к ее ногам. Для него это было наградой совершонного им труда, наградой за отвагу, равную которой трудно найти в другом мужчине, и только в этом сознании видел он свое оправдание и свое право на обладание ею. Но она и раньше этого не понимала, не поняла и теперь; а он искренно удивлялся и не мог понять, какими достоинствами мог он ее привлечь.

— Миссис Сильверштейн — неженка,— добродушно усмехнулся он.—Скажи на милость, что она понимает в этих вещах? А я тебе говорю, что это занятие прекрасное... и очень здоровое,—добавил он, немного подумав.—Посмотри на меня. Я тебя уверяю, что для того, чтобы быть всегда хорошо натренированным, я должен держать себя чисто. Я живу здоровей и гигиеничней, чем миссис Сильверштейн со своим стариком,—чище, чем кто-либо из твоих знакомых,—ванны, обтиранья, гимнастика, правильное и хорошее питание. Свиньей не живу, не пью, не курю, не делаю ничего, что мне вредно. Ведь я живу гигиеничней тебя, Женевьева... Честное слово,—торопливо прибавил он, заметив ее сконфуженное лицо.— Не воду и мыло я имею в виду, а вот посмотри.—Его пальцы благоговейно, но крепко сжали ее руку у плеча.—У тебя рука вся мягкая-мягкая. А у меня нет. На, пощупай.

И он прижал кончики ее пальцев к своим твердым мышцам так крепко, что она даже поморщилась от боли.

— Я весь такой твердый,—продолжал он.—Вот что я называю жить здоровой жизнью. Каждая капля крови, каждая частичка мяса и мускулов—здоровы, здоровы до самых костей, и кости тоже здоровые. Вымыта не только кожа, но все тело—насквозь. Так и чувствуешь себя чистым. Когда утром проснусь и выйду на работу, каждая капля крови и каждая частица мяса так и кричат во-всю, что они чисты. Уверяю тебя, что...

Он вдруг как-то сразу замолчал, смущенный несвойственным ему красноречием. Никогда в жизни он не был так взволнован, высказывая свои мысли, но никогда в жизни и не было такого повода: ведь тут затронута была Игра—самое драгоценное в мире—по крайней мере, она была самой драгоценной до тех пор, пока в один прекрасный день он случайно не зашел в кондитерскую Сильверштейна, а Женевьева не вошла вдруг чем-то огромным в его жизнь, заслонив собою все остальное. Но теперь он начинал соображать—пока еще только смутно-вечный конфликт между женщиной и карьерой, между работой мужчины и женской потребностью в мужской опоре. Обобщать он не умел: он только ясно видел антагонизм между реальной Женевьевой—Женевьевой из плоти и крови—и великой, абстрактной, но живой Игрой. Недолюбливали они друг друга эти двое, спорили между собой из-за него, каждый на него притязал. Борьба эта его огорчала, но он беспомощно плыл, уносимый течением их распри.

Слова его приковали взгляд Женевьевы к его лицу, и она испытывала радость, созерцая ясные глаза, чистую кожу и нежные, как у девушки, гладкие щеки. Силу его доводов она восприняла—и потому возненавидела их. Инстинкт ее восставал против этой Игры, которая отнимала его, присваивая себе частицу того, что всецело должно было принадлежать ей. Игра была соперницей—ей неизвестной и непонятной. И прелести ее она никак не могла постичь. Если бы эта соперница была женщиной или девушкой,—она могла бы себе ее представить и понять. Но при данных условиях ей оставалось бороться во тьме с неосязаемым противником. Та правда, которую она чуяла в его словах, делала Игру еще более могущественной.

И вдруг ее охватило сознание своей слабости. Сердце ее наполнилось жалостью к себе самой и печалью. Джо ей был нужен весь целиком, нужен без остатка; на дележ ее женская природа не соглашалась. А он увертывался, ускользая из ее объятий, как ни старалась она удержать его. Слезы подступили к глазам, губы задрожали, но поражение ее скоро обратилось в торжество, силой ее слабости обращая в бегство всесильную Игру.

— Не надо, милая, не надо,—умолял он, смущенный и удивленный. Его мужскому уму казались беспричинными и непонятными ее внезапные слезы, но при одном виде их он позабыл все остальное.

Улыбкой влажных глаз она простила его, и он, не зная за собой никакой вины, мгновенно растаял. Его руки порывисто потянулись к ней, но она, вся напрягшись, отстранилась от него, между тем как глаза еще лучезарней засияли улыбкой.

— А вот и мистер Клаузен,—и с этими словами, при помощи какой-то чисто женской алхимии, она обратила на вошедшего совершенно сухие глаза.

— А вы, Джо, наеврно решили, что я так и не вернусь?—вымолвил заведующий отделом, румяный пожилой мужчина со строгими баками, суровость которых скрашивалась веселыми маленькими глазками.—Ну, посмотрим... да, да, мы с вами выбирали бобрик,—оживленно продолжал он.—Вон тот рисунок вам, кажется, приглянулся, не правда ли? Да, да, ведь я все понимаю. Я сам обзаводился хозяйством, когда зарабатывал всего 14 шиллингов в неделю. Но на устройство гнездышка ничего не жалеешь, ведь так? Конечно, я понимаю. Но цена-то всего на семь центов дороже, а в конце концов, чем дороже—тем дешевле, вот вам мое мнение. И вот что я вам скажу,—добавил он в каком-то филантропическом порыве и таинственно понижая голос,—для вас, только для вас, я готов сбавить до пяти центов, но обещайте,—и голос его сделался торжественно-значительным,—обещайте никогда никому не говорить, за сколько я вам его отдал. И сошьется и подрубится—все за эту же цену,—закончил он, когда Джо и Женевьева, посовещавшись, дали свое согласие.—Ну, а как же гнездышко-то, а? Когда же вы расправляете крылышки и влетаете в него? Как,—уже завтра? Отлично, отлично!

На момент он в восторге выкатил свои глаза, затем отечески посмотрел на них.

Ответы Джо звучали немного резко, а Женевьева покраснела, но они чувствовали, что этот разговор неуместен. Не только потому, что затронутый вопрос был слишком интимен и для них священен, но из-за чувства, которое у мещан было бы проявлением глупой щепетильности, а у них говорило о скромности и деликатности, зачастую встречаемых в людях из рабочего класса, стремящихся к чистой и нравственной жизни.

Мистер Клаузен, покровительственно улыбаясь, проводил их до лифта, а все приказчики вытягивали шею, следя за удаляющейся стройной фигурой Джо.

— А сегодня вечером как же, Джо?—с интересом расспрашивал мистер Клаузен, пока они дожидались машины.—Как вы себя чувствуете, надеетесь с ним справиться?

— Не сомневаюсь. Никогда я себя не чувствовал лучше,—ответил Джо.

— Вы чувствуете себя хорошо, а? Ладно, ладно. А я-то полагал... канун свадьбы... и все такое... Думал, что вы, пожалуй, взволнованы самую малость, нервничаете... Я ведь помню, что такое женитьба. У вас, значит, все в порядке, да? Конечно, вас-то и спрашивать

нечего. Ну, ну! желаю вам полнейшего успеха, дорогой! Не сомневаюсь, что победа будет за вами, ни мало не сомневаюсь... Ну-с, мисс Притчард, до свиданья!—обратился он к Женевьеве, галантно усаживая ее в лифт.—Заходите почаще, всегда буду рад...

— И каждый тебя называет Джо,—укоряла она его, пока лифт летел вниз.—Почему никто тебя не зовет «мистер Флеминг»? Это было бы куда приличнее.

Но он молчал и упорно разглядывал поднимавшего их мальчика, как будто не слышал ее.

— В чем дело, Джо?—спросила она с той всепокоряющей нежностью, силу которой она вполне сознавала.

— Пустяки. Я только мечтал, мне так хотелось, чтобы...

— Чего тебе хотелось? Чего?—Голос ее был само обольщение, а от взгляда ее сразу растаял бы самый суровый человек. Тем не менее ее глазам не удалось привлечь к себе его ответный взор. Но затем, раздумав, он неожиданно сказал:

— Мне так хотелось бы, чтобы ты хоть раз видела меня на арене.

Брезгливый жест ее руки—и все настроение упало. А ей ясно представилось, что соперница ринулась между ними и пытается его увлечь.

— Мне... мне тоже хочется,—заторопилась она, сделав над собой усилие и пытаясь выказать ему ту симпатию, которая обезоруживает даже самых сильных мужчин и заставляет их склонять голову на женскую грудь.

— Ты в самом деле хочешь?

Он поднял глаза и впился в ее лицо. Она понимала, что слова его не шутка. Они звучали как вызов ее любви.

— Это было бы самой великой минутой в моей жизни,—добавил он просто.

Было ли то опасение за свою любовь, готовность ли пойти навстречу его жажде симпатии, желание ли встретить Игру лицом к лицу и наяву познать ее—или же то было сигналом боевого рожка, зовущего ее на приключения и проникающего через тесные стены ее однообразной, серой жизни? Как бы то ни было—все ее существо затрепетало от чувства необычайной отваги, и она так же просто ответила:

— Да, хочу.

— Я никак не думал, что ты согласишься, а то я и не стал бы просить,—признался он, ведя ее через улицу.

— Но ведь это невозможно,—с тревогой спросила она, не давая остыть своему решению.

— О, это я всегда сумею устроить; но я никак не думал, что ты согласишься... Да, я не думал, что ты согласишься,—повторил он, все еще не придя в себя от удивления, и, нащупав в кармане мелочь, подсадил ее на трамвай.

ГЛАВА II

Женевьева и Джо принадлежали к аристократам рабочего класса. Нищета и грязь окружали их, а они оставались чистыми и здоровыми. Самоуважение, влечение ко всему прекрасному и чистому заставляло их сторониться окружающих. Нелегко было с ними подружиться. И настоящего интимного друга, верного товарища—не было ни у того, ни у другого. Инстинкт общественности в них был достаточно силен. И все же они оставались одинокими, ибо удовлетворить этот инстинкт и в то же время сохранить свое стремление к чистоте и благопристойности—было невозможно. Вряд ли бы нашлась девушка-работница, которая вела бы такую замкнутую жизнь, как Женевьева. В обстановке грубости и порока она сумела уберечь себя от всего грубого и порочного. Она замечала только то, что ей хотелось видеть, а хотела она видеть всегда лучшее. Инстинктивно, без всяких усилий отстранялась она от всего безобразного и непонятного. И условия жизни, в которых она росла, служили ей хорошей защитой. Единственный ребенок в семье, она проводила все время возле больной матери. У нее не было возможности принимать участие в уличных играх и шалостях соседних детей. Ее отец—тщедушный, узкогрудый, анемичный маленький клэрк—был по природе необщителен. Он весь отдавался семье, стараясь создать в доме атмосферу уюта и любви. Двенадцати лет Женевьева осталась сиротой. Сейчас же после похорон отца она переселилась к Сильверштейнам—в их квартиру над кондитерской. Всеми силами старалась она отблагодарить этих чужих людей, так сердечно приютивших ее, и отработать стоимость своего содержания и платьев, прислуживая в магазине. Она была другого вероисповедания, и потому Сильверштейны, которые в свои субботние дни сами не работали,—в ней нуждались. Здесь, в неприглядной лавчонке, незаметно промелькнули шесть лет ее юности. Знакомых у нее было мало. Ни одной девушки еще не встретила она, достойной стать ее подругой. И ни с одним из молодых соседей она не гуляла, как обычно было принято у девушек, начиная с пятнадцати лет.

«Задирает нос»—так отзывались о ней ее сверстницы по-соседству. Но, несмотря на эту враждебность, вызванную ее красотой и отчужденностью, она все же внушала им уважение.

— Нежна, как персик, бела, как сливки,—шептались молодые люди потихоньку между собой, опасаясь раздражить других женщин. Они питали к ней почти религиозное благоговение, как к чему-то таинственно-прекрасному и недоступному.

И она была действительно красива. Происходя от старого американского рода, она была одним из тех редких цветов, какие иногда неожиданно, вопреки всему, что окружает,—появляются в рабочей среде. У нее был прекрасный цвет лица. Легкий румянец просвечивал сквозь ее нежную кожу, оправдывая столь удачное сравнение—персик и сливки. Правильные черты лица вполне гармонировали с тонкими линиями фигуры. Всегда тихая и невозмутимо спокойная, она была полна благородства и достоинства. Особенное умение одеваться еще более подчеркивало ее строгую красоту. И вместе с тем она была глубоко женственна: нежная, мягкая, привязчивая, с неосознанным влечением к семейной жизни и материнству. Но эта сторона ее существа все еще пребывала в дремотном ожидании того, кто ее разбудит.

И вот появился Джо. В одну из суббот, после жаркого полдня он зашел в лавку Сильверштейнов освежиться содовой водой с мороженым. Она не обратила на него внимания, ибо была занята с другим покупателем, мальчиком шести-семи лет, который степенно производил смотр своим желаниям перед витриной, где чудесные кондитерские изделия в изобилии покоились под заманчивым объявлением: пять штук за пять центов.

Она услыхала: «Пожалуйста, содовой с мороженым»,—и в свою очередь спросила: «С каким?»—все еще не смотря на него. Это было ее обыкновение—не обращать внимания на молодых людей. Что-то в них было, чего она не понимала. Ее смущала их манера смотреть на нее. Почему—она сама не знала. Ей не нравились в них грубоватость и неуклюжесть. До сих пор ее воображение еще не было затронуто мужчиной. Те, которых она видела, не привлекали ее и ровно ничего для нее не значили. Короче,—вопрос о том, есть ли какой-нибудь смысл в существовании мужчин на земле, привел бы ее в замешательство.

Накладывая мороженое в стакан, она случайно взглянула на Джо, и у нее тотчас же возникло приятное чувство удовлетворения. Он посмотрел на нее, глаза ее опустились, и она отвернулась к прилавку. Но возле сифона, наполнив стакан, она опять захотела взглянуть на посетителя,—не больше, чем на момент. И в этот момент она заметила его пристальный взгляд, ищущий ее взгляда, и выражение откровенного любопытства на его лице, заставившее ее опять поспешно отвести глаза.

Ее удивляло, что она встретила такую привлекательность в мужчине. «Миловидный мальчик», подумала она, инстинктивно и наивно пытаясь защититься от подчиняющей ее власти, которую всегда таит подлинная привлекательность. «И, однако, он совсем не миловиден», думала она, ставя перед ним стакан и получая десять центов серебром в уплату. Она в третий раз встретилась с ним глазами. Запас ее слов был ограничен, и она в них не слишком разбиралась. Но энергичная мужественность его юного лица говорила ей, что это определение не подходит.

«В таком случае он должен быть красив», была ее следующая мысль, когда она снова опустила глаза под его взглядом. Но любой человек сколько-нибудь приличной наружности называется красивым, и это выражение ей тоже не понравилось. Как бы то ни было, его было приятно видеть, и ее раздражало желание смотреть на него снова и снова.

Что же касается Джо,—он никогда не встречал никого, похожего на эту девушку за прилавком. С философией природы он был знаком больше, чем она, и мог немедленно же объяснить смысл существования женщин на земле: тем не менее в его мировоззрении женщина отсутствовала. Его воображение было так же не затронуто женщиной, как и ее—мужчиной. Но теперь оно было взволновано. И женщиной была Женевьева. Он никогда не предполагал, что женщина может быть так красива. Он не мог оторвать от нее глаз. И всякий раз, как он смотрел на нее, и их взгляды встречались,—он испытывал тягостное смущение. Если б она не опускала так быстро глаз, он принужден был бы отвернуться.

Когда же, наконец, она медленно подняла глаза и вновь не опустила—потупил глаза не кто иной, как он, и румянец залил его щеки. Она смутилась гораздо меньше и ничем смущения не обнаруживала. И, однако, никогда еще прежде она не чувствовала такого волнения, хотя внешне и оставалась невозмутимой. Джо, наоборот, проявлял явную неловкость и выглядел восхитительно растерянным.

Любви они оба еще не знали, и в данный момент каждый из них сознавал одно только непреодолимое желание смотреть на другого. Оба были возбуждены. Их влек друг к другу властный инстинкт. Он вертел в руках ложку, смущенно краснел над стаканом и томился; она же спокойно разговаривала, опускала глаза и оплетала его своими чарами.

Но нельзя же было целую вечность медлить над стаканом, а другой попросить он не смел. Наконец, оставив ее словно в трансе, он ушел и побрел, как лунатик, вниз по улице.

Весь вечер она мечтала—и поняла, что она влюблена. У Джо все было иначе. Он знал только одно: ему надо опять увидеть ее

лицо. Его мысль не шла дальше; едва ли это даже была мысль,— скорее смутное, еще не оформленное желание.

Справиться с этим неотступным желанием он не мог. День за днем оно его мучило, и неотвязно вспоминались кондитерская и девушка за прилавком. Он боролся с этим желанием. Ему было стыдно, и он боялся снова зайти в кондитерскую. Страх его уменьшался, когда он думал: «Я не из тех, какие нравятся женщинам». Не один, не два, а двадцать раз он повторял это себе, но ничто не помогало. И среди недели, вечером после работы, он пришел в кондитерскую. Он старался войти беспечно, как будто случайно, но было ясно видно, по его походке, каким огромным усилием воли он побеждал свою нерешительность. Он казался застенчивым и неуклюжим больше, чем когда-либо. Женевьева же, напротив, была непринужденней, чем всегда, несмотря на сильную тревогу и волнение. Разговаривать он не мог и, взглянув озабоченно на часы, пробормотал свой заказ; в страшной поспешности покончил с мороженым и ушел.

Она готова была расплакаться от досады. Такая скудная награда за четырехдневное ожидание, да к тому же она еще и любила! Он— славный мальчик, она это знала, но вовсе не нужно было быть так немилосердно торопливым. Джо еще не дошел до угла, как ему захотелось снова быть с ней—и смотреть на нее. Он не думал, что это любовь. Любовь? Ведь любовь—это, когда молодые люди и девушки гуляют вместе. Что же касается его... Здесь его мысль приняла неожиданное направление, и оказалось—это и есть то самое, что он намерен ей предложить. Ему необходимо видеть ее, смотреть на нее, и разве не лучше всего он сможет достигнуть этого во время прогулок с ней. Вот почему мужчины и девушки гуляют вместе,— размышлял он, кстати и конец недели был близок. Раньше он считал, что эти прогулки являлись простой формальностью, обрядом, предваряющим брак. Теперь он проник в их скрытую мудрость, нуждаясь в них сам, и из этого заключил, что влюблен. Оба они думали теперь в одном и том же направлении; поэтому дело могло кончиться только одним, и девять дней удивлялись соседки тому, что Женевьева гуляет с Джо.

Они оба не умели много разговаривать, и период ухаживания затянулся. Характерной чертой Джо являлась активность, у Женевьевы—спокойствие и сдержанность, и только в блеске ее глаз откровенно светилась ее нежная любовь, которую она застенчиво пыталась скрыть. Слова «дорогой», «дорогая» казались слишком интимными, и они не могли так скоро отважиться на них. Они не злоупотребляли словами любви, подобно большинству других влюбленных пар. Долгое время они довольствовались вечерними прогулками.

Они садились в парке и в продолжение часа не произносили ни слова, лишь радостно погружаясь в глаза друг друга. При свете звезд блеск их глаз казался смягченным и не смущал их.

Он проявлял рыцарскую предупредительность и внимание к своей даме. Когда они шли по улице, он озабоченно старался сохранить возле нее место с краю тротуара,—где-то он слыхал, что этого требует приличие; а если они переходили на другую сторону улицы, он осторожно обходил позади нее и снова занимал свое место. Он носил ее пакеты и однажды, когда собирался дождь, ее зонт. Он никогда не слыхал об обычае посылать возлюбленной цветы и отсылал ей вместо них фрукты. Фрукты—полезная вещь; поесть их—приятно. Мысль о цветах не приходила ему в голову до тех пор, пока однажды он не увидел бледную розу в ее волосах. Это были ее волосы, и поэтому присутствие цветка сразу привлекло его внимание. Она выбрала цветок для своих волос, и это особенно вызывало интерес к цветку и заставило его внимательней рассмотреть розу. Он открыл, что роза сама по себе прекрасна. Он был искренно восхищен, но это восхищение еще в большей мере относилось к Женевьеве, и оба они были возбуждены—причиной тому был цветок. С этих пор Джо полюбил цветы. Внимание его к Женевьеве стало изобретательным. Он прислал ей букет фиалок. Идея принадлежала ему—и только ему. Никогда не слыхал он, чтобы мужчина дарил женщине цветы. Цветы употребляются с декоративной целью, а также во время похорон.

Теперь он почти каждый день дарил цветы Женевьеве,—для него эта идея была столь же оригинальна, как и великие человеческие изобретения.

Он трепетал от благоговения к ней, как и она при встрече с ним. Она была сама чистота и невинность, и слишком пылкое поклонение не могло ее осквернить. Она резко отличалась от всех, кого он знал. Была совсем иная, чем все девушки. Он представлял себе ее созданной совсем не так, как его или чьи бы то ни было сестры. Для него она была больше чем девушка, больше чем женщина. Это была Женевьева—не похожая ни на кого, удивительная и чудесная.

В свою очередь и у нее иллюзий было нисколько не меньше. В мелочах она относилась к нему критически (в то время как его отношение было подлинным обожанием, без тени критики), но в общем отдельные черты забывались, и для нее он являлся изумительным существом, без которого нет в жизни смысла. Ради него она могла бы умереть так же охотно, как и жить. Мечтая о нем, она часто придумывала всякие фантастические положения, в которых она, умирая за него, открывала ему, наконец, всю свою любовь; она была уверена, что в жизни никогда не сможет выразить ее всю.

Любовь их была подобна утренней заре. Чувственности в ней почти не было—чувственность казалась профанацией. Первые проблески физического влечения в их отношениях оставались неосознанными. Единственно, в чем ощущали они непосредственно физическое влечение, властные порывы и чары тела,—это легкое прикосновение пальцев к руке, крепкое, короткое пожатие, изредка скользнувшая ласка губ в поцелуе, щекочущая дрожь ее волос на его щеке, дрожь ее руки, отводящей, еле касаясь, его волосы со лба. Это все они знали, но видели, не умея объяснить почему, призрак греха в этих ласках и сладостных касаниях тела.

Наступило время, когда она стала ощущать потребность доверчиво обвить руками его шею. Но что-то всегда ее удерживало. В такие моменты в ней возникало определенное и неприятное сознание греховности этого желания. Нет, она не должна ласкать именно так своего возлюбленного. Ни одна уважающая себя девушка не думает о таких вещах. Это не женственно. Кроме того, сделай она это—что подумал бы о ней Джо. Представляя себе весь ужас этого невероятного события,—вся она как будто съеживалась и горела от стыда.

И Джо не избежал жала этих странных желаний, и главным из них, быть может, было желание сделать Женевьеве больно. Достигнув, наконец, после долгой и нерешительной подготовки, блаженства обнять ее за талию, он почувствовал судорожное желание еще крепче сомкнуть объятия,—так, чтобы она закричала от боли. Стремление причинять боль живому существу было, в сущности, ему чуждо. И даже на арене, сбив ударом противника, он вовсе не намерен был сделать ему больно. И в этом случае была Игра, И для завершения ее требовалось, сбив противника, заставить его лежать десять секунд. Намеренно он никому не причинял боли. Боль, в сущности, была явлением случайным, и цель была не в ней. Но вот теперь, когда он был с любимой девушкой, у него пробуждалось желание сделать больно. Почему, обвивая пальцами ее руку, как кольцом, ему хотелось сильно сжать это кольцо,—он сам не мог понять. И он решил, что в его натуре вскрылась такая жестокость, о какой он до сих пор даже не подозревал.

Однажды, гуляя, он обнял ее и слегка притянул к себе. Вырвавшийся у нее крик удивления и испуга привел его в себя и вызвал в нем смущение, а вместе с тем и трепет смутного несказанного наслаждения. Дрожь охватила и ее. Боль от крепкого объятия была ей приятна. И снова она почувствовала греховность этого, хотя и не понимала, в чем она заключается.

Наступил день—весьма для них преждевременно—когда Сильверштейн застал Джо в кондитерской и дерзко уставился на него.

Произошла соответствующая сцена, после которой Джо ушел. Материнское чувство миссис Сильверштейн вылилось в колкой критике всех боксеров вообще и Джо Флеминга в частности. Тщетно силился мистер Сильверштейн остановить гнев супруги. Ее гнев имел основание. Она обладала всеми чувствами матери, но материнских прав у нее не было.

Женевьева обратила внимание только на эту едкую критику. Она слышала этот поток ругательств, извергаемый еврейкой, но была слишком поражена, чтобы к ним прислушиваться. Джо—ее Джо—был Джо Флеминг, боксер. Это отвратительно, немыслимо, слишком это странно, чтоб можно было поверить. Ее Джо с ясными глазами, с румянцем девушки мог быть кем угодно, только не боксером. Последних она, правда, никогда не видела, но Джо никоим образом не походил на боксера, каким она себе того представляла—человек-зверь, с глазами тигра, с узким лбом. Конечно, она слыхала о Джо Флеминг,—и кто в Вест-Оклэнде не слыхал о нем!—но никогда не приходило ей в голову, что здесь могло быть не одно только простое совпадение имен.

Истерический смех миссис Сильверштейн вывел ее из оцепенения:

— Завести знакомство с кулачным бойцом!—После этого Сильверштейн вступил в спор с женой относительно различия между «известный» и «знаменитый», в применении к возлюбленному Женевьевы.—Но он хороший парень,—утверждал Сильверштейн.—Он делает деньги и их откладывает.

Миссис Сильверштейн кричала в ответ:

— Что ты мне рассказываешь? И что ты знаешь? Слишком уж много ты знаешь! Ты тратишь честные деньги на боксеров.

— Я знаю то, что знаю,—продолжал Сильверштейн решительно. Никогда прежде Женевьева не наблюдала в нем такого упорства в перепалках со своей супругой.—Его отец умер. Он идет работать в мастерскую парусов Ганзена. У него шесть братьев и сестер—все моложе его. И он для них как отец. Он работает хорошо. Он покупает хлеб и мясо и платит за квартиру. В субботний вечер он приносит домой десять долларов. А когда Ганзен дает ему двенадцать долларов, что же он делает? Он им как отец, он приносит все деньги домой. Он все время работает, он получает двенадцать долларов—и что же он делает? Приносит их домой. Младшие братья и сестры ходят в школу, носят хорошие платья, имеют бутерброды и мясо; мать живет сытно, и в ее глазах радость. Она гордится добрым мальчиком Джо. Он прекрасного сложения, бог мой, прекрасного сложения! Сильный как бык, ловкий как тигр, голова свежая, глаза острые. Он бьется на кулачки с мастеровыми Ганзена, он дерется на кулаках с мальчиками из пакгауза. Он

попадает в клуб и побеждает Снайдера—живо, одним ударом. Приз в пять долларов—и что же он делает? Он приносит их домой матери. Он ходит много раз в клуб, он получает много призов—десять долларов, пятьдесят долларов, сто долларов. И что же он делает? Бросает работу у Ганзена? Веселится с товарищами? Нет, нет, он хороший мальчик. Он работает каждый день. Он состязается ночью в клубе. Потом он говорит: зачем мне платить за квартиру Сильверштейну,—мне, Сильверштейну, так он сказал. И он покупает хороший дом для матери. Все время он работает у Ганзена и состязается в клубе, чтобы заплатить за дом. Он покупает пианино для сестер, ковры, картины на стены. И все время он крепок и силен. Он сам держит пари за себя—это же хороший знак. Когда человек сам держит за себя, это подбивает каждого...

Здесь его прервали вопли миссис Сильверштейн,—вопли, выражавшие весь ужас ее перед Игрой. И, удрученный своим предательским красноречием, супруг начал путаться в изворотливых уверениях, что он-де от Игры убытка не понесет. «И все из-за Джо Флеминга,—вывел он в заключение.—Чтобы выиграть, я ставлю на него».

Но Женевьева и Джо были незаурядной парой, и ничто—даже это ужасное открытие—не могло их разлучить. Напрасно Женевьева пыталась ожесточиться против него. Терпела поражение она сама, а не он. К своему удивлению она нашла тысячу оправданий для него, и больше чем когда-либо он казался ей достойным любви; и она шла в его жизнь, чтобы стать его судьбой и как женщина его охранять. Она знала предстоящее ему будущее и была преисполнена пылкими замыслами различных реформ, а первым великим ее достижением было вырванное у него обещание отказаться от бокса.

А он, подобно всем мужчинам, преследуя мечту любви, уступил. И все же, даже в тот момент, когда обещание давал,—он смутно чувствовал, что никогда не сможет бросить Игру. Когда-нибудь, в будущем, он должен будет к ней вернуться. И мелькнула мысль о матери, братьях и сестрах с их многочисленными потребностями, о доме с картинами, с его ремонтом и обложениями, мелькнула мысль о том, что у него с Женевьевой могут быть дети, и о своей личной ежедневной работе в мастерской. Но тотчас же он отогнал эту мысль, как обычно отгоняют все подобные предостережения, и видел только одну Женевьеву, сознавал лишь свой голод по ней, тягу к ней всего своего существа. И отнесся спокойно к ее вмешательству в его жизнь и дела. Ему было двадцать лет, ей—восемнадцать; здоровые, нормальные и уравновешенные—они представляли пару, как бы предназначенную для продолжения рода. Где бы они ни шли вместе, даже среди незнакомых на воскресной прогулке по улице,—

взгляды всех прохожих неизменно на них останавливались. Ее красота девушки была под-стать его мужской красоте; грация—его мощи, а изящество—суровой его энергии и мускулистому телу мужчины. Своим открытым лицом, нежным румянцем, немного наивным видом, голубыми глазами он привлекал взоры многих женщин, стоявших значительно выше его по своему социальному положению. Сам он совсем не сознавал ни этих взглядов, ни смутных материнских чувств, что внушал. Зато Женевьева замечала и понимала. И всякий раз она испытывала прилив радостной гордости от сознания, что он принадлежит ей,—целиком ей. Но и он ловил взгляды мужчин, обращенные на нее, и это скорее его раздражало. Она тоже замечала их—и принимала так, как ему и в голову не могло притти.

ГЛАВА III

Женевьева натянула на ноги легкие, на тонкой подошве ботинки Джо, весело смеясь вместе с Лотти, которая нагнулась, подворачивая на ней брюки. Лотти, сестра Джо, была посвящена в их тайну. И это благодаря ей удалось соблазнить мать отправиться с визитом к соседям, дабы иметь весь дом в своем распоряжении. Они спустились вниз в кухню, где ждал их Джо. Когда он увидел Женевьеву, его лицо просияло.

— Теперь спрячь эти юбки, Лотти,—командовал он.—У нас мало времени. Ну, так хорошо. Видите, видны будут только концы брюк. Пальто прикроет остальное. Теперь посмотри, как оно подойдет. Оно взято у Криса; он хоть и маленький, но настоящий спортсмен,—продолжал он, помогая Женевьеве надеть пальто, спускавшееся ей почти до пят и сидевшее на ней так, словно было сшито на заказ.

Джо надел ей на голову фуражку и поднял воротник такого необычайного размера, что, доходя до фуражки, он совершенно скрывал ее волосы. Когда он застегнул воротник доверху, его края прикрыли ее щеки, а подбородок и рот в нем совершенно потонули. И только вблизи можно было различить ее затененные глаза и кончик носа. Она прошлась по комнате. При ходьбе подол пальто заворачивался, и из-под него выглядывали края брюк.

— Спортсмен с насморком и боится простудиться, прекрасно,—улыбался Джо, с гордостью обозревая работу своих рук.—Сколько же у вас денег? Я ставлю десять против шести. Хотите ставить на более слабого?

— А кто слабее?—спросила Женевьева.

— Конечно же, Понта,—вырвалось оскорбленно у Лотти, как будто в этом можно было еще сомневаться.

— Разумеется,—ответила мягко Женевьева,—только я мало понимаю в этих делах.

Лотти тотчас же сжала губы, но лицо ее приняло снова огорченное выражение. Джо взглянул на часы и объявил, что уже пора итти. Сестра бросилась ему на шею и звонко поцеловала в губы. Она поцеловала и Женевьеву. Брат обнял ее за талию, и они вместе прошли до ворот.

— Что означает: десять против шести?—спросила Женевьева, в то время как их шаги зазвенели в морозном воздухе.

— Меня публика любит,—ответил Джо.—И это значит, что один ставит десять долларов за то, что я выиграю, против шести, которые ставит другой, рассчитывающий, что я проиграю.

— Но если тебя любит публика и каждый в тебе уверен,—как же может кто-нибудь биться об заклад против тебя?

— Вот на этом и держится бокс—на различии в мнениях,—рассмеялся он.—Кроме того, каждый может рассчитывать на счастливый удар, на случайность. Такие случаи бывают,—произнес он серьезно.

Женевьева крепко прижалась к нему, как бы желая его защитить. Он уверенно засмеялся.

— Вот подожди, ты увидишь. Но не пугайся. Первые круги—это будет нечто неистовое. В этом все дело у Понты. Он—человек горячий. Он применяет все приемы и как вихрь налетает на противника на первом же круге. Он побил многих куда более ловких и опытных, чем сам. Мне надо устоять против этого,—в этом все и дело. Затем он потеряет голову, и вот тогда-то я начну его теснить. Смотри внимательно, ты поймешь, когда я перейду в наступление, и с ним покончу.

Они подошли к холлу в темном переулке. Официально это был дом атлетического клуба, но в действительности—учреждение, предназначенное, с разрешения полиции, для публичных матчей бокса. Джо отошел от Женевьевы, и они отдельно вошли в подъезд.

— Держи руки в карманах во что бы то ни стало,—предупредил ее Джо,—и будет отлично. Всего несколько минут.

— Этот—со мной,—заметил он швейцару, беседующему с полицейским.

Оба фамильярно приветствовали его, не обратив внимания на спутника.

— Они никогда не выдадут, никто не выдаст,—уверял ее Джо, в то время как они поднимались по лестнице во второй этаж.

— А если кто-нибудь и проболтается, они все равно не знают тебя. Ради меня они будут молчать. Сюда иди, сюда!

Он увлек ее в маленькую комнату—нечто в роде конторы—и, усадив на пыльный, поломанный стул, ушел. Пять минут спустя он вернулся облаченный в длинный халат, в парусиновых туфлях. Ее вдруг охватил страх за него, и его рука нежно ее обвила.

— Все будет хорошо, Женевьева,—ободрял он.—Я уже распорядился. Никто не выдаст.

— Не о себе я беспокоюсь,—сказала она,—о тебе.

— Не о себе? Но ведь я думал, ты потому и испугана!

Он удивленно посмотрел на нее. Женщины—изумительные существа, а изумительней всех—Женевьева! Он на момент потерял дар слова, а затем пробормотал:

— Значит, ты обо мне? И ты не заботишься, что подумают?

Внезапный двойной стук в дверь и еще более неожиданный голос: «Шевелись, Джо!», вернули его к неотложным делам.

— Скорей еще один поцелуй, Женевьева,—прошептал он почти благоговейно.—Это мое последнее выступление, и я буду биться, как никогда, помня, что ты на меня смотришь.

Она еще чувствовала прикосновение его теплых губ к своим, когда очутилась в толпе молодежи. Ни один, казалось, не обращал на нее внимания. Многие из них были без сюртуков, и рукава их рубашек были засучены. Они входили в зал группами и медленно продвигались боковым проходом.

Это был переполненный, скудно освещенный зал, огромный, как сарай. Табачный дым все кругом заволакивал. Женевьева почувствовала, что ей трудно дышать. Раздавались пронзительные крики мальчишек, продающих программы и содовую воду. Стоял невероятный гул низких мужских голосов. Она услыхала, как кто-то предлагал десять против шести за Джо Флеминга. Сказано это было монотонно, ей показалось—в голосе сквозила безнадежность, и внезапно дрожь охватила ее. Это был ее Джо, против которого бились об заклад.

Но была и другая причина ее возбуждения: кровь ее была опалена, как огнем, этим романтическим приключением, неожиданным, таинственным, страшным. Она проникла в это сборище мужчин, куда женщина не допускалась. Но ее волнение имело и другие основания: единственный раз в жизни она осмелилась на безрассудный поступок. Впервые преступила она законы, установленные м-с Трэнди[1]) рабочего класса—этим жесточайшим из тиранов. Она испытывала страх уже за себя, хотя за момент перед этим думала только о Джо.

---

[1]) Героиня романа Мортона „Speed the plough“ (1798). Это имя стало нарицательным, как символ благопристойности. Соответствует грибоедовской „княгине Марье Алексевне“.

Прежде чем успела заметить, она достигла входа в зал и, пройдя ступенек шесть вверх, проникла в небольшую уборную, тесную и душную, битком-набитую мужчинами, так или иначе причастными к Игре,—как заключила она. Здесь Джо ее покинул. Но прежде чем страх за себя успел по-настоящему ее охватить, один из молодых людей обратился к ней, грубо сказав:

— Идем вместе.

Выбравшись следом за ним из толпы, она увидела, что и другой пошел за ними.

Они прошли по какому-то помосту, на котором находились три ряда стульев. Все они были заняты. И здесь она мельком бросила первый взгляд на арену. Женевьева была на одном уровне с ареной, и так близко, что могла бы притронуться к ограждавшему ее канату. Она заметила покрывавшую ее парусиновую настилку и вокруг арены смутно различила столпившуюся массу народа.

Покинутая ею уборная примыкала к одной стороне арены. Протискиваясь за своим проводником между рядами сидевших мужчин, она перешла на противоположный конец залы и вошла в такую же уборную по другую сторону арены.

— Теперь сидите тихо и оставайтесь здесь, пока я не приду за вами,—давал наставления проводник, указывая ей на предусмотрительно проделанное отверстие в стене комнаты.

ГЛАВА IV

Женевьева поспешно приникла к отверстию и увидела как раз напротив помост с ареной. Она могла обозревать ее всю, но часть публики была заслонена. Арена ярко освещалась сверху гроздью обыкновенных газовых рожков. Передний ряд, через который она только что пробиралась, занимали репортеры местных газет, как она решила, судя по их записным книжкам и карандашам. Один из них жевал резинку. Позади, в двух следующих рядах, она заметила пожарных из ближайшего депо и несколько полисменов в форме. В средине переднего ряда, между репортерами, сидел молодой начальник полиции. По другую сторону арены вдруг с изумлением она узнала фигуру м-ра Клаузена. Он сидел там, возле самой арены, строгий, с седыми бакенбардами, с порозовевшим лицом. Немного дальше в том же ряду она узнала Сильверштейна. Его заостренная физиономия пылала от предвкушения зрелища.

Раздавшиеся кое-где аплодисменты возвестили о прибытии группы молодых людей в рубашках с засученными рукавами; молодые люди несли ведра, бутылки и перекинутые через руку полотенца. Они пробрались за канат и направились в угол арены наискось от нее.

Один из них опустился на стул, прислонившись спиной к канату. Она заметила на его голых ногах парусиновые туфли, а на теле плотный белый свитер. В это же время другая группа заняла угол прямо против нее. Гром аплодисментов привлек ее внимание, и она увидела Джо, севшего на стул, все еще в купальном халате. Его вьющиеся пряди волос были на расстоянии какого-нибудь ярда от нее.

Один молодой человек в черном костюме, с торчащими щеткой волосами, в нелепо-высоком накрахмаленном воротнике вышел на средину арены и поднял руку, возглашая:

— Господа, прошу не курить!

Но его слова были встречены воем и кошачьим мяуканьем, и Женевьева заметила, что никто курить не бросил. М-р Клаузен в момент предупреждения держал в руке зажженную спичку; спокойно он зажег сигару. В этот момент в ней вспыхнула к нему ненависть. Как будет Джо бороться в такой атмосфере? Сама она еле дышала, а ведь она сидит спокойно.

Распорядитель направился к Джо. Тот поднялся, сбросил халат, и, обнаженный, выступил вперед на середину арены; только на ногах его были парусиновые туфли и на бедрах—узкая белая повязка. Женевьева опустила глаза. Она была одна—никто на нее не смотрел, но лицо ее загорелось от стыда, когда она увидела прекрасную наготу ее возлюбленного. Но она снова на него взглянула, сознавая преступность этой радости обладания тем, чем, ей казалось, обладать было грешно. Это непонятное возбуждение и тяга к нему—несомненно греховны. Но грех был сладостный, и она не могла отвести глаз. Забылись все предостережения м-с Грэнди. Отголоски язычества, первородный грех, вся природа—восстали в ней. В ней заговорила вечная мать, и неслись жалобы нерожденных детей. Но она ничего этого не сознавала. Она только чувствовала здесь грех и, гордо подняв голову, в страстном порыве возмущения, отважно решила грешить до конца.

В своих мечтах она никогда не представляла себе формы тела под одеждой. О теле она не думала—разве что о руках и лице. Дитя лощенной культуры, она отождествляла одежду с телом. Человеческая раса являлась для нее расой одетых двуногих, с руками, лицом и головой, покрытой волосами. Джо, неизгладимо в ней запечатленный, представлялся ей только одетым—этот Джо—с нежными щеками, с голубыми глазами, с кудрявой головой. И вот он стоял здесь, в ярком освещении, весь обнаженный и богоподобный. Образ бога она отчетливо не представляла, и нагота его рисовалась ей весьма туманно, а эта ассоциация ужаснула ее. Ей казалось, что теперь грех ее принял характер богохульства, святотатства.

Ее развитое эстетическое чутье осилило предрассудки воспитания и говорило ей, что здесь красота исключительная. Ей всегда нравилась внешность Джо, но верней—Джо в его костюме, и она считала, что привлекательность эта зависит от его вкуса и уменья одеться. Она никогда не подозревала, что причина кроется глубже. Сейчас он ослепил ее. Его кожа была нежной, как у женщины, а покрывавший ий легкий пушок ее не безобразил. Это она заметила, но всем остальным—совершенством линий, силой и крепостью его мускулистого тела—была очарована бессознательно. В нем была какая-то и строгость и грация. Лицо его походило на камею, и губы, сложенные в улыбку, придавали ему совсем мальчишеское выражение.

Стоя лицом к публике, он улыбался, в то время как распорядитель, положив руку ему на плечо, возглашал:

— Джо Флеминг, гордость Вест-Оклэнда.

Поднялась буря радостных восклицаний и аплодисментов, и до нее донеслись восторженные крики: «Наш Джо!»,—приветствия возобновлялись снова и снова.

Он вернулся в свой угол. В этот момент, как ей казалось, он менее всего походил на боксера. Глаза его светились добротой, в них не было ничего животного, как и в выражении лица. Тело казалось чересчур хрупким, благодаря красоте и грации движений. Он выглядел слишком юным, добродушным и интеллигентным. Не будучи экспертом, она не могла оценить охвата груди, мощности легких и его мышц в их нежном футляре—этот тайник энергии, скрытую лабораторию разрушительной силы. Для нее он являлся чем-то в роде дрезденского фарфора, нуждающегося в осторожном и заботливом обращении и способного разбиться вдребезги при первом грубом прикосновении.

На средину арены выступил Джон Понта и стянул с себя, с помощью двух своих секундантов, белый свитер. При виде его Женевьева ужаснулась. Вот это был боксер—зверь с низким лбом, с крохотными, круглыми глазками под хмурыми, густыми бровями, с плоским носом, толстыми губами, злым ртом. Шея у него была бычачья и массивная нижняя челюсть. Короткие, прямые волосы на его голове казались ее испуганным глазам жесткой щетиной свиньи. Вот здесь-то была грубость и жестокость—нечто дикое, первобытное и свирепое. Смуглый—почти черный—он весь зарос на груди и плечах волосами, спутанными как шерсть собаки. Грудь его была широкая, ноги толстые, весь он был мускулистый и уродливый. Мускулы выпирали узлами, и он казался весь в наростах и шишках. Благодаря чрезмерной силе красота искажалась.

— Джон Понта из атлетического клуба Вест-Бэй,—возгласил распорядитель.

Его приветствовали с несравненно меньшим воодушевлением. Было ясно,—толпа симпатизировала Джо.

— Возьми его, Понта, куси его!—раздался одинокий голос в тишине.

Его поддержали шумливые крики и завывания. Понта это не понравилось. Угрюмый рот его злобно дергался, когда он возвращался в свой угол. В нем слишком резко был выражен атавизм, и восхищения толпы он не мог вызвать. Инстинктивно она чувствовала к нему отвращение. Это был зверь, лишенный разума и души, грозный и страшный,—так тигр или змея более страшны за железными прутьями клетки, чем на воле.

Он знал, что толпа его не любит. Как зверь, окруженный врагами, он обводил всех сверкающими злобой глазами. Маленький Сильверштейн, с пылким оживлением продолжавший выкрикивать имя Джо, отпрянул назад под этим взглядом и съежился, как обожженный. Возглас застрял в его горле. Женевьева наблюдала эту маленькую интермедию. Когда же глаза Понта, с ненавистью обводя окружающих, встретились с ее взглядом,—она тоже вся сжалась и откинулась назад. В следующий момент взор его скользнул дальше и остановился на Джо.

Ей показалось, что Понта сам старался разжечь свою ярость. Джо ответил ему присталным взглядом своих спокойных мальчишеских глаз, но лицо его стало серьезным.

На средину арены, в сопровождении распорядителя, выступил третий человек, молодой парень с веселой физиономией, в рубашке с засученными рукавами.

— Эдди Джонс—рефери состязания,—объявил распорядитель.

— А, вот и Эдди!—раздавались восклицания, прерываемые аплодисментами.

Женевьева поняла, что и этот был любимец.

Секунданты стали помогать обоим боксерам одевать перчатки. Прежде чем Джо успел натянуть свои, один из секундантов Понта подошел к нему и обследовал их. Рефери вызвал боксеров на средину арены. За ними последовали секунданты. Образовалась группа: Джо и Понта лицом к лицу, между ними рефери; секунданты, опираясь руками о плечи друг друга, вытягивали головы вперед. Рефери говорил, и все внимательно слушали.

Затем группа распалась, и вперед выступил опять распорядитель.

— Джо Флеминг весит сто двадцать восемь фунтов, Джон Понта—сто сорок,—сказал он.—Состязание будет продолжаться до тех пор, пока один из них не будет в состоянии его вести. Публика пусть помнит, что состязание до результата. В этом клубе не бывает состязаний в ничью.

После этого он пролез под канатом и спустился с помоста арены на пол. Секунданты, суетливо очищая углы, со стульями и ведрами тоже пробирались за канат. На арене остались только два боксера и рефери. Раздался удар гонга. Оба бойца поспешно приблизились к центру. Их правые руки вытянулись и через секунду встретились в небрежном пожатии. И вслед за этим Понта бросился на Джо, который отскочил. Стрелой Понта понесся за ним.

Состязание началось. Женевьева, прижав руку к груди, следила. Она растерялась от молниеносности и ярости натиска Понта, от этого бесчисленного количества наносимых им ударов. Ей казалось, что Джо погибает. Временами она не различала его лица,—настолько быстро мелькали перчатки. Но она слышала удары, и при звуке каждого чувствовала почти физическую боль под ложечкой. Она не подозревала, что эти удары от столкновения перчаток или прикосновения перчатки к плечу—совершенно безвредны.

Внезапно она насторожилась: в ходе состязания произошла перемена. Оба охватили друг друга тесным объятием. Удары прекратились совсем. Она узнала в этом «обхват», о котором рассказывал ей Джо. Понта пытался вырваться. Джо не отпускал. Рефери выкрикнул: «Прекратить!» Джо попытался отступить, но Понта, высвободив руку, размахнулся, и Джо, чтобы избегнуть удара, рванулся и вторично сжал его. В этот раз она заметила его кулак, упершийся в рот и подбородок Понта. И при втором возгласе «прекратить!» он закинул голову противника назад и отскочил, на этот раз освободившись окончательно.

Несколько коротких секунд Женевьева могла беспрепятственно обозревать своего возлюбленного. Отступив влево и слегка согнув колени, он пригнулся, с головой, втянутой в плечи, и с руками наготове. Мускулы тела напряглись, и, когда он шевелился, она могла видеть, как они перекатывались под его белой кожей, подобно живым существам.

И снова Понта бросился на него. Джо вступил в борьбу за жизнь. Он еще больше пригнулся, сжался, прикрываясь руками. Удары сыпались дождем, и Женевьеве казалось, что он уже избит до-смерти. Но он встречал удары своими перчатками и плечами, раскачиваясь взад и вперед, подобно дереву в бурю, в то время как весь зал в восторге аплодировал. Только уразумев значение этих аплодисментов и увидев Сильверштейна, привскочившего с места в необычайном восхищении, слыша со всех сторон: «Молодчина Джо!», она поняла, что это не поражение, и Понта хорошо за это платится. На момент Джо передохнул, и затем возобновился бешеный натиск Понта.

ГЛАВА V

Прозвучал гонг. Казалось, они бились полчаса, хотя, по словам Джо, она знала, что это должно было длиться всего три минуты. С ударом гонга секунданты Джо были уже на арене и последовали за ним в его угол, чтобы использовать благодатную минуту отдыха. Один из них, присев на пол у его протянутых ног и приподняв их на свои колени, старательно их растирал. Джо сидел вытянувшись на стуле; он откинул голову назад и положил руки на веревку, чтобы грудь могла свободней дышать. Широко открытым ртом вдыхал он воздух—два других секунданта обмахивали его полотенцем—и прислушивался к советам третьего, что-то шептавшего ему на ухо, обмывая губкой его лицо, плечи и грудь.

Едва кончилась вся эта процедура (она заняла всего несколько секунд),—раздался звук гонга. Секунданты выбрались за канат со всеми своими приспособлениями. Джо двинулся к центру арены навстречу Понта. Женевьеве никогда не казалась минута такой короткой. Ей показалось даже, что отдых был урезан, и она заподозрила,—но что, сама не знала.

Понта набросился, как прежде, работая обеими руками, и хотя Джо парировал удары, он должен был отступить на несколько шагов назад. Прыжком тигра Понта настиг его. Инстинктивно пытаясь удержать равновесие, Джо взмахнул рукой, поднял голову и оказался без всякого прикрытия. С невероятной быстротой Понта кинулся на него, и страшный удар вот-вот должен был обрушиться на его челюсть. Но Джо нырнул головой вперед и вниз, и удар Понта пришелся по затылку. Когда Джо выпрямился, левая рука Понта грозила нанести ему удар, который мог перебросить его за канат. Но он снова предупредил удар, с неуловимой быстротой наклонившись вперед. Кулак Понта, слегка задев его плечо, рассек воздух. Правая рука Понта вытянулась, но Джо нырнул и крепко обхватил его, и снова удар лишь скользнул по плечу Джо.

Женевьева вздохнула с облегчением; напряженность всего ее существа заменилась полным упадком сил. Толпа неистово аплодировала. Сильверштейн вскочил на ноги, крича, жестикулируя, совершенно вне себя. И даже мистер Клаузен что-то кричал с энтузиазмом в ухо своему соседу.

Но обхват был разорван, и состязание продолжалось. Джо оборонялся, отступал, скользя по арене и стойко выдерживая бешеную атаку. Сам он редко наносил удары, ибо у Понта были зоркие глаза, и он умел так же хорошо защищаться, как и нападать. Сила Джо уступала этой чудовищной живучести; ему оставалось только

выжидать, пока Понта сам не исчерпает окончательно всей своей энергии.

Наконец Женевьева начала удивляться, почему ее возлюбленный не наступает. Она чувствовала раздражение. Ей хотелось увидеть, как он отомстит этому зверю, так его загонявшему. Ее нетерпение все росло, и наступил момент, когда кулак Джо опустился на рот Понта. Это был великолепный удар. Понта откинулся назад, и губы его окрасились кровью. Этот удар и ликующие крики публики привели его в ярость. Он как зверь рванулся. Все неистовство его прежних нападений было ничто по сравнению с этим натиском. И второй такой же удар уже не последовал. Джо был слишком поглощен обороной против этого града ударов, им же вызванного. Он парировал удары, прикрываясь и ныряя в спасительные передышки обхватов.

Но и здесь, в обхвате, не было полного отдыха и безопасности. Требовалось напряженное, неусыпное внимание, а разрыв грозил еще большей опасностью.

Женевьеве показался забавным один странный прием Джо, когда он во время обхвата припадал к телу Понта. Его значения она не понимала до тех пор, пока в одном обхвате, прежде чем Джо успел плотно припасть, кулак Понта взвился вверх и чуть-было не задел его подбородок. В следующий раз, когда Женевьева уже успокоилась и облегченно вздохнула, увидев, как Джо благополучно припал,—Понта, упираясь подбородком в плечо Джо, поднял правую руку и со страшной силой опустил кулак на его крестец. Раздался испуганный вопль толпы. Джо быстро стиснул руку противника, предупреждая повторный удар.

Зазвучал гонг, и после короткого перерыва они начали снова в углу Джо, куда Понта нетерпеливо метнулся ему навстречу. Последний удар, полученный Джо, пришелся как раз над почками, и на белой коже появился ярко-красный кровоподтек. Это красное пятно, размером в перчатку, ужасало Женевьеву; оно притягивало ее глаза, и с большим трудом она могла от него оторваться. Очень скоро, во время следующего обхвата, этот удар повторился. Но затем Джо уже ухитрился каждый раз подставлять ко рту Понта перчатку, запрокидывая его голову назад и этим отвращая страшный удар. Но все же Понта успел три раза до окончания схватки выполнить свой трюк, всякий раз поражая уже раненое место.

Опять перерыв, и снова схватка—без дальнейших повреждений для Джо и без малейшего признака усталости со стороны Понта. Но в начале пятого круга Джо, загнанный в угол, наклонившись вперед, сделал движение, как бы намереваясь обвить противника. Это достигло цели. В тот самый момент, когда Понта приготовился уже прижать его к себе, Джо слегка отклонился назад и ударил

кулаком в его незащищенный живот. Промелькнуло еще четыре молниеносных удара правой и левой рукой. Это были тяжелые удары, ибо Понта шатаясь отступил, полуопустив руки. Казалось, он готов скорчиться и упасть. Пользуясь его беспомощностью, Джо нанес ему удар в рот и тотчас же замахнулся, нацеливаясь в челюсть. Но удар попал в щеку. Понта, зашатавшись, отскочил в сторону.

Весь зал был на ногах, восторженно вызывая Джо,—все до одного человека. Женевьева слышала крики: «Он его взял, взял его!» Ей казалось, что уже близок конец. Она тоже была вне себя от волнения; ее кротость и мягкость исчезли; она ликовала при каждом жестоком ударе возлюбленного.

Но живучесть Понта была необычайна, с ней приходилось считаться. Как прежде он набрасывался, подобно тигру, на Джо, так теперь Джо преследовал его. Снова он пытался попасть в челюсть Понта. Но сила и ловкость вернулись к последнему, и он удачно уклонился. Кулак Джо рассек воздух, и благодаря стремительности удара Джо сделал полуоборот. Тогда Понта взмахнул левой рукой, и его перчатка ударила в открытую шею Джо. Женевьева видела, как опустились руки возлюбленного, как вздрогнуло все его тело и, качнувшись назад, ослабевшее упало на пол. Рефери наклонился над ним, осчитывая секунды и отмечая каждую ударом правой руки.

В зале стояла мертвая тишина. Понта слегка повернулся к публике, ожидая заслуженного одобрения, но его встретило холодное, гробовое молчание. Гнев охватил его. Это явная несправедливость. Только его оппонент удостоивается аплодисментов—наносит ли он удар, или уклоняется от него. А он, Понта, с самого начала успешно наступавший, не услышал ни одного слова одобрения.

Его глаза засверкали, и, весь сжавшись, он подскочил к распростертому врагу. Пригнувшись возле, он поднял правую руку, готовый сокрушить его ударом при первой попытке подняться. Рефери, до сих пор склоненный над Джо и продолжающий правой рукой отсчитывать секунды, левой отталкивал Понта. Последний упрямо кружился около. Рефери следил за ним, оттесняя его и стараясь держаться между ним и упавшим Джо.

— Четыре, пять, шесть,—раздавался счет. В этот момент Джо, повернувшись лицом к полу, пытался подняться на коленях. Это ему удалось. Упираясь коленом и руками в пол, он поджал другую ногу, пробуя встать.

— Считай, считай же!—неслись голоса из публики.

— Ради бога, считай же!—предостерегающе закричал с одного конца круга секундант Джо. Женевьева бросила туда мимолетный взгляд и увидела молодое лицо, бледное и расстроенное. Губы его машинально шевелились, повторяя счет за рефери.

— Семь, восемь, девять,—бежали секунды.

Прозвучала девятая и истекла, когда рефери в последний раз оттолкнул Понта, и Джо поднялся на ноги, сгорбившись, слабо прикрываясь, но вполне владея собой. С устрашающей силой Понта бросился на него, стремительность его была необычайна. Джо отпарировал два удара, ускользнул от третьего; уклоняясь от четвертого, отступил, но, наконец, этот ураган ударов загнал его в угол. Он был необычайно слаб. Стараясь удержаться на ногах, он шатался. Спиной он прислонился к канату. Дальше уже некуда было отступать. Понта остановился, как бы прикидывая расстояние, затем сделал ложный выпад левой рукой и изо всех сил, с ожесточением ударил правой. Но Джо нагнулся и обхватил его. На этот раз он был спасен.

Понта бешено вырывался. Он жаждал прикончить этого уже почти добитого врага. Но Джо боролся за жизнь. Он стойко противился его усилиям, неотступно цепляясь за него и сжимая.

— Прекратить!—скомандовал рефери. Джо еще плотнее обвил Понта.

— Заставь его отпустить! Чорт возьми, что же ты его не заставишь отпустить! Чорт возьми!—задыхаясь кричал Понта рефери.

Рефери снова скомандовал: «Прекратить!» Джо отказывался подчиниться, твердо убежденный в своем праве на это. С каждым моментом силы возвращались к нему, мысль прояснялась, с глаз спадала пелена. Ему надо было как-нибудь выдержать еще около трех минут до окончания круга.

Рефери схватил их за плечи и с силой разнял, став поспешно между ними, не давая им снова схватиться. Но освобожденный Понта прыгнул на Джо подобно дикому зверю, опрокидывающему свою добычу. Джо заслонился, откинул его и опять обхватил. Это повторилось несколько раз. Понта вырывался. Джо не отпускал его. Рефери растаскивал их. А Джо снова припадал к Понта.

Женевьева поняла, что во время обхватов он не подвергается ударам. «Почему же тогда рефери мешает ему? Это жестоко». Она ненавидела добродушного Эдди Джонса и, поднявшись, гневно сжала кулаки, до боли впиваясь ногтями в ладонь. В продолжение трех долгих минут, оставшихся до конца круга, обхваты следовали один за другим. Ни разу не удалось Понта нанести противнику последний смертельный удар. И, обезумевший, он бушевал, чувствуя свое бессилие перед этим ослабевшим, почти побежденным врагом. Один бы удар, только один,—но он невозможен! Хладнокровие и опытность спасали Джо. В полусознательном состоянии, дрожа всем телом, он сжимал противника и не выпускал, а в это время силы его все приливали. Понта раздраженный невозможностью ударить, сделал попытку поднять его и швырнуть на пол.

— Почему же ты его не укусил?—раздался резкий, насмешливый голос Сильверштейна.

В полной тишине этот возглас пронесся по всему залу, и публика, позабыв тревогу о своем любимце, разразилась оглушительным, почти истерическим хохотом. Даже Женевьева уловила комизм этого замечания, и чувство успокоения из залы передалось ей. Но все же ощущение боли и слабости не покидало ее; она еще была вся под впечатлением того ужаса, какой ей пришлось пережить.

— Куси его! Куси его!—раздавались голоса среди оживившейся публики.—Отгрызи ему ухо, Понта! Это единственный способ, каким ты его возьмешь. Сожри его! На, съешь! Почему же ты его не ешь?

Ужасное впечатление произвело это на Понта. Он озверел еще больше и еще сильнее чувствовал свое бессилие. Он задыхался и рычал, истощая силы в чрезмерном напряжении; теряя рассудок и самообладание, он тщетно пытался заменить их напряжением физических усилий. Им владело одно только слепое желание уничтожить Джо. Он тряс его, как такса пойманную крысу, и делал отчаянные попытки высвободить свое тело и руки, а Джо уверенно сжимал его и не пускал. Рефери самоотверженно и честно старался их разнять. Пот струился по его лицу. Он напрягал все силы, пытаясь разорвать эти сцепившиеся два тела. Но едва он успевал разделить их, как Джо с прежней энергией обвивал Понта, и вся его работа была впустую. Напрасно Понта, освободившись, пытался избежать рук и цепкого тела Джо. Он не мог уйти от него. Он приближался к нему с намерением нанести удар, но каждый раз Джо ускользал и ловил Понта в свои объятия.

Женевьева, притаившись в маленькой уборной, внимательно наблюдая сквозь отверстие, ничего не могла понять. Она была заинтересованным лицом в этой смертельной борьбе,—разве один из бойцов не был ее Джо? Публика знала, что здесь происходило, она же—нет. Смысл этой Игры оставался для нее загадкой. Чем эта Игра обольщала? Еще большей тайной, чем прежде, казалась она ей. Какое наслаждение мог находить Джо в этом зверском столкновении возбужденных и напряженных тел, в этих жестоких сжатиях, свирепых ударах, влекущих за собой страшные повреждения. Ведь она, Женевьева, предлагала ему гораздо более ценное—покой и безмятежную, тихую радость. Ее притязания на сердце его и душу было много выше и благородней, чем притязание, предъявляемое ему Игрой. Сейчас Джо увлекался ими обоими—он держал ее в своих руках, но прислушивался к той, чей обольстительный зов она не могла понять.

Ударил гонг. Раунд кончился, и обхват был разорван в углу Понта. Бледнолицый молодой секундант был на арене с первым же звуком гонга. Он схватил Джо, приподнял его и вместе с ним

побежал через весь круг в его угол. Там секунданты ревностно захлопотали над ним, согревая его ноги, растирая живот, растягивая пальцами набедренную повязку, чтобы ему легче было дышать. Женевьева впервые наблюдала, как мужчина дышит животом; живот поднимался и опускался гораздо сильнее, чем ее грудь, когда она гналась за трамваем. Едкий, щекочущий в носу, запах нашатыря доносился к ней от мокрой губки, острые испарения которой, при вдыхании, проясняли его мозг. Он прополоскал рот и горло, высосал разрезанный лимон, и все это время его старательно обмахивали полотенцами, вгоняя в легкие кислород, освежающий и оживляющий уставшую кровь для предстоящего ему боя. Губкой, смоченной в воде, обтирали его разгоряченное тело и прямо из бутылок поливали его голову.

ГЛАВА VI

Ударом в гонг возвестили начало шестого раунда,—и оба боксера, с блестевшими от воды телами, выступили навстречу друг другу. Понта две трети пробежал. Он горел нетерпением скорее настигнуть противника, пока тот еще не вполне оправился. Но Джо выдержал этот натиск. Он опять чувствовал себя крепким, и силы его все прибывали. Он отпарировал несколько злобных ударов и ударил сам, заставив Понта зашататься. Он попытался продолжать наступление, но затем, разумно воздержавшись, удовлетворился парированием и защитой от вихря ударов, посыпавшихся после его удара.

Состязание шло так же, как и в самом начале: Джо оборонялся, Понта наступал. Но теперь последний держался уже менее развязно. Его уверенность в своих силах исчезла. В любой момент во время его бешеных атак противник мог нанести ему удар. Но Джо берег силы. Он отвечал одним ударом на десять ударов Понта, но этот один почти всегда попадал в цель. Неустанно атакуя Джо, Понта все же был не в состоянии с ним справиться. Удары Джо, всегда меткие, как у тигра, заслуживали уважения. Они умеряли ярость Понта. Он уже не мог продолжать нападение так же безнаказанно, как прежде.

Внезапно ход борьбы изменился. Публика сразу заметила это, и в конце девятого раунда даже Женевьева поняла. Джо перешел к наступлению. Во время обхватов теперь уже он опускал кулак на крестец Понта, нанося изо всех сил ужасный удар над почками. И повторял это при каждом обхвате. В промежутках он бил Понта в живот или челюсть. Но при первом признаке молниеносных атак противника он, прикрываясь, отступал.

Так закончились два раунда, за ними третий, а сила Понта, заметно ослабевшая, не могла так скоро иссякнуть. У Джо была цель:

уничтожить его не сразу, не одним сокрушительным ударом, даже не десятью, а медленно, настойчиво преследовать его отдельными ударами до тех пор, пока эта чудовищная сила окончательно не будет выбита из его тела. Он не давал ему покоя; не отставал от него ни на шаг, и отчетливо слышался легкий стук его ступней по твердой парусине. Потом внезапно он набрасывался на него, как тигр; следовал удар и еще, и еще; и так же быстро он отскакивал назад, укрываясь от дикого налета Понта лишь затем, чтобы немедленно снова начать наступление, легко ударяя по парусине выдвинутой вперед левой ногой.

Понта стал ослабевать. Толпа считала состязание почти законченным.

— Браво, Джо!—неслись восторженные возгласы.

— Это позор брать деньги!—издевалась толпа.—Почему ты не проглотишь его, Понта? Возьми его, съешь!

В течение одной минуты перерыва секунданты Понта суетились возле него, как еще ни разу до сих пор. Их спокойное доверие к его необычайной живучести было подорвано. Женевьева следила за их возбужденными хлопотами, в то же время прислушиваясь к советам, даваемым Джо его бледнолицым секундантом.

— Не торопись,—говорил он.—Ты его возьмешь, но старайся не спешить. Я видел его в бою. У него всегда наготове удар. Я видел, как он был покаутирован [1]) и все-таки продолжал драться. Мики Сэлливэн почти его прикончил. Шесть раз он его сбивал, и шесть раз тот поднимался. А затем произошла штука. Понта дал ему в челюсть, и только две минуты спустя Мики Сэлливэн открыл глаза и спросил, что случилось. Берегись его. Не слишком забывайся и берегись его ударов—у него есть меткие. Я поставил деньги, но только тогда, когда он останется лежать после конца счета,— буду считать их своими.

Понта обливали водой. Когда зазвонил гонг, секундант еще не кончил лить ему на голову и несколько шагов следовал за ним к середине арены, наклоняя над ним перевернутую бутылку. Рефери закричал на него, и он убежал, уронив бутылку. Она покатилась, и вода, булькая, выливалась на парусину, пока арбитр нетерпеливо не отшвырнул ее носком сапога за канат.

В течение всех предыдущих раундов Женевьева не видела у борющегося Джо того лица, какое было у него утром в магазине ковров. Иногда его лицо становилось совсем мальчишеским; во время наносимых ему жестоких ударов оно бледнело и серело, а позже, когда он припадал к Понта, оно делалось упрямым. Но теперь, вне

---

[1]) Нокаутировать—лишить сознания противника.

опасности, наступая сам, он выглядел настоящим бойцом. Она это заметила и содрогнулась. Он показался ей совсем чужим. Она думала, что знает его всего—целиком, но твердая решительность его лица, жесткий рот, этот стальной, острый блеск глаз—были ей незнакомы. Его лицо казалось ей лицом бесстрастного ангела мести, исполнителя воли создателя.

Понта пытался применить свой прежний прием бешеных натисков, но был остановлен ударом в зубы. Неумолимо, настойчиво, все время угрожая, не давая ему передышки, Джо преследовал его. Тринадцатый раунд завершился сильным натиском, загнавшим Понта в его угол. Тот прижался к канату, был опрокинут на колени и на отсчитанной девятой секунде попробовал подняться, чтобы спастись в обхвате, но получил от Джо четыре ужасных удара в живот, и со звоном гонга упал, застонав, назад, на руки своих секундантов.

Джо побежал через арену в свой угол.

— Теперь уже скоро я его возьму!—сказал он своему секунданту.

— Да, сейчас ты его здорово пригвоздил,—отвечал последний.— Теперь тебе ничто не может помешать, кроме какой-нибудь случайности. Ты все-таки будь осторожней.

Джо, пригнув ноги, приготовился к прыжку, наклонившись вперед, подобно гонщику, ожидавшему сигнала отправления. Он ждал удара в гонг. Когда тот прозвучал, он стрелой метнулся вперед через арену, настигнув Понта в то время, как тот поднимался со стула, окруженный еще секундантами. Понта отступил и свалился, сбитый кулаком правой руки Джо. Когда он встал в смущении посреди ведер, стульев и секундантов, Джо снова опрокинул его. И в третий раз он опять упал, не успев спрятаться в свой угол.

Теперь Джо начал бешено атаковать. Женевьева вспомнила его слова: «Смотри внимательно, ты поймешь, когда я начну наступать». Весь зал уже понял это. Все были на ногах, голоса слились в один бешеный рев. Это был вопль толпы, жаждавшей крови, и он звучал в ушах Женевьевы подобно вою волков, каким она его себе представляла. И уже не сомневаясь в победе возлюбленного, она почувствовала где-то глубоко в сердце жалость к Понта.

Тот напрасно порывался защищаться, парировать удары, уклоняться и нырять, спасаясь на момент в обхвате. Но и здесь он не был в безопасности. Его уделом оставались низвергающиеся удары один за другим. Джо швырял его на парусиновую настилку, осыпая градом ударов во время обхвата, и при разрыве жестоко, неумолимо бил его в грудь. Отбрасываемый к канату, тот отскакивал и от следующего толчка снова ударялся о канат. Рассекая руками воздух, он наносил страшные удары впустую. Ничего человеческого уже не оставалось в нем. Это был воплощенный зверь, беснующийся,

затравленный. Сильным швырком брошенный на колени, отказавшись от счета, он вскочил на ноги лишь затем, чтобы встретить тотчас же удар в рот, отшвырнувший его со всего размаху назад, опять к канату.

Судорожно напрягаясь в тяжелых усилиях, он шатался; с остекленевшими глазами, прерывисто дыша—страшный—он геройски боролся до конца, стараясь припасть к противнику, и в бессилии метался по всему кругу. И вдруг, неожиданно нога Джо поскользнулась на мокрой парусине. Блуждающие глаза Понта заметили это, и он тотчас же воспользовался этой случайностью. Собрав последние силы, он молниеносно ударил его в подбородок. Джо подскочил. Женевьева видела, как сразу опали его мускулы, и услышала гулкий стук его головы о парусину.

Шум в зале моментально замер. Рефери подошел к распростертому телу, отсчитывая секунды. Понта, шатаясь, опустился на колени и, с большими усилиями снова поднявшись, обводил враждебными глазами публику. Он продолжал покачиваться из стороны в сторону; ноги его дрожали и подкашивались; он задыхался и всхлипывал, стараясь перевести дух. Сильно пошатнувшись назад, он не упал лишь благодаря канату, инстинктивно уцепившись за него. Здесь стоял он—вялый, ослабевший, согнувшись и опустив голову на грудь, пока рефери отсчитывал решающую десятую секунду и оповещал о его выигрыше.

Не раздалось ни одного аплодисмента. Змеей прополз он под веревкой навстречу своим секундантам. Они помогли ему спуститься на пол и, поддерживая, повели боковым ходом вниз в толпу. Джо лежал все еще на том же месте. Секунданты отнесли его в его угол и посадили на стул. Любопытные стали пробираться на площадку круга, желая посмотреть на него ближе, но были отброшены назад стоявшими там полицейскими.

Женевьева в отверстие все видела. Она особенно не тревожилась. Ее возлюбленный потерпел поражение. Она разделяла с ним его огорчение от такой неудачи—и это все. Отчасти она даже радовалась. Игра обманула его. И теперь-то он уже целиком принадлежит ей. От него она знала, что такое нокаутирование. Часто требовалось немало времени, чтобы привести боксеров в себя. И только услышав, как секунданты требовали доктора, она встревожилась.

Они перенесли его гибкое тело за канат, и она не могла уже больше его видеть. Потом распахнулась дверь уборной, и вошло много народа. Они несли тело Джо. Он был положен на пыльный пол; голова его покоилась на коленях одного из секундантов. Никого, повидимому, не удивляло ее присутствие здесь. Она подошла и опустилась на колени возле него. Глаза его были закрыты, губы слегка разжаты,

мокрые волосы прямыми прядями окаймляли лицо. Она подняла его руку. Рука была тяжелой, и ее безжизненность ужаснула Женевьеву. Она взглянула на лица секундантов и толпящихся вокруг людей. Все они казались испуганными, кроме одного, который грубо ругался. Подняв голову, она увидела Сильверштейна. Он тоже выглядел испуганным. Он нежно положил ей руку на плечо и сочувственно сжал его пальцами.

Это сочувствие испугало ее, и она почувствовала головокружение.

В это время в комнате поднялась суматоха,—кто-то вошел. Вошедший пробрался вперед и раздраженно закричал:

— Выходите отсюда! Выходите! Комнату надо очистить!

Присутствующие молча повиновались.

— Вы кто?—резко спросил он Женевьеву.—Да ведь это девушка!

— Это ничего, это его невеста,—заметил один молодой парень, в котором она узнала своего проводника.

— А вы?—крикнул он, вспылив, Сильверштейну.

— Я с нею,—отвечал тот так же сердито.

— Она работает у него,—объяснял молодой человек.—Этим можно, уверяю вас.

Вновь прибывший раздраженно пробормотал что-то и опустился на колени возле Джо. Он провел рукой по его мокрой голове, опять что-то пробурчал и поднялся на ноги.

— Мне здесь нечего делать,—сказал он.—Пошлите за каретой скорой помощи.

Все, что происходило после, казалось Женевьеве сном. Возможно, она потеряла сознание,—этого она не знала,—иначе зачем же Сильверштейну поддерживать ее, обхватив рукой. Все лица казались ей расплывчатыми, нереальными. До нее долетали отрывки разговора. Молодой человек, ее проводник, что-то говорил относительно репортеров. «Твое имя попадет в газету», слышала она обращенный к ней откуда-то издалека голос Сильверштейна. И заметила, как отрицательно покачала сама головой.

Появилось много новых лиц, и она увидела, как Джо выносили на парусиновых носилках. Сильверштейн застегнул ее длинное пальто и поднял воротник. На лице она почувствовала ночной воздух и, посмотрев вверх, увидела ясные, холодные звезды. Ее усадили куда-то, Сильверштейн сел рядом. Джо был тоже здесь, все еще на носилках, с одеялом поверх обнаженного тела. И здесь же был еще какой-то человек в синей форме, что-то ласково ей говоривший, но что—она не понимала. Стучали копыта лошадей, и ее увозили куда-то в темноту ночи.

После—свет и голоса и запах иодоформа. «Это, должно быть, больница,—подумала она,—вот операционный стол, а там доктора». Они внимательно осматривали Джо. Один из них, с темными глазами, с черной бородой, похожий на иностранца, приподнялся над столом.

— Никогда не видел ничего подобного,—заявил он другому.—Вся затылочная кость!

Ее сухие губы горели, и ощущалась невыносимая боль в горле. Почему же она не плачет? Ей следовало бы плакать; она чувствовала, что слезы душат ее. Там вот, Лотти (это, вероятно, тоже сон), отделенная от нее только маленькой, узкой койкой, плачет. Кто-то упомянул о смерти,—другой доктор, не тот, что похож был на иностранца. Но не все ли равно кто? Который может быть час теперь? И, как бы в ответ, она увидела в окне бледный рассвет.

— Сегодня мы хотели обвенчаться,—сказала она Лотти.

С другой стороны койки сестра его простонала:

— Не надо говорить, не надо!—она закрыла лицо руками и снова зарыдала.

Так вот, значит, каков конец: ковров, мебели и маленького арендованного дома; вот каков конец их встреч, волнующих вечерних прогулок при свете звезд, этого наслаждения покорностью и их взаимной любви. Она была потрясена таким ужасным результатом Игры, ей непонятной, цепко пленяющей душу мужчины иронией и вероломством, риском и случайностями, а гордо бунтующая кровь низводит женщину на роль жалкой игрушки, отнимая у нее возможность быть для него всем,—конечной целью жизненной. Женщине он—мужчина—дает радость материнства и свою заботливость, свои настроения и свободные минуты, а Игре—дни и ночи состязаний, все свои мысли и свои руки, все терпение и невероятное напряжение, все рвение, весь пыл своего существа,—Игре, этой заветной своей страсти.

Сильверштейн помог ей подняться на ноги. Она беспрекословно повиновалась, все еще как во сне. Он сжал ее руку и толкнул к двери.

— Почему же ты не поцелуешь его?!—вскрикнула Лотти.

Женевьева послушно наклонилась над телом и прижала губы к его еще теплым губам. Дверь открылась, и она вышла в другую комнату. Там ждала их миссис Сильверштейн. Глаза ее гневно, возмущенно загорелись при виде мужского платья на Женевьеве.

Сильверштейн умоляюще посмотрел на свою супругу, но она разразилась яростным потоком слов:

— Что я тебе говорила? Что? Что я говорила? Ты захотела кулачного бойца в мужья. А теперь вот твое имя будет во всех

газетах. На состязании и в мужском платье! Ах ты, негодница! Ах ты, распутница! Ах ты...

Но тут слезы хлынули из ее глаз, и голос оборвался. Она протянула свои грубые руки смешно и неуклюже, святая в своем материнском порыве; шатаясь, подошла к неподвижной девушке и прижала ее к груди.

Вздыхая, она невнятно бормотала ласковые слова и, обняв Женевьеву за плечи своими сильными руками, тихо ее баюкала.

ДЖЭК ЛОНДОН

ПЕРВОБЫТНЫЙ ЗВЕРЬ

ГЛАВА I

Сэм Стьюбенер быстро и небрежно просматривал свою корреспонденцию. Как и полагалось импрессарио призовых боксеров, он давно привык к самым разнообразным и странным посланиям. Всякий чудак—спортсмен, любитель или реформатор—считал, казалось, своим долгом поделиться с ним своими идеями. Он заранее был готов к повседневной порции сюрпризов, приносимых ему почтой,—начиная от свирепых угроз с ним покончить до более миролюбивых намерений дать ему разок по физиономии; от амулетов из кроличьих лапок до приносящих счастье лошадиных подков и от неопределенных денежных посулов до четверти миллиона долларов, предлагаемых безответственными незнакомцами. В свое время он получил ремень для бритья из кожи линчеванного негра и сморщенный, высушенный на солнце палец, отрезанный от трупа белого человека, найденного в Долине Смерти; теперь он считал, что почта уже ничем больше его поразить не может, но в это утро он получил столь необычайное письмо, что перечитал его вторично, положил в карман, а затем снова вытащил, чтобы перечитать в третий раз. На конверте стоял штемпель какого-то никогда не слыханного почтового отделения в графстве Сискью, и оно гласило следующее:

Дорогой Сэм!

Вы меня знаете только по имени. Вы пришли после меня, когда я давно уже вышел из дела. Но поверьте мне, я не дремал. Я следил за делом и следил за вами с тех времен, как Кэль Ауфман побил вас до вашей последней схватки с Нат Бельсоном, и я считаю вас самым ловким изо всех импрессарио, когда-либо появлявшихся на арене. Я хочу сделать вам одно предложение. У меня здесь на-примете имеется самый великий «незнакомец», какого когда-либо видел мир. Это не подделка. Товар настоящий, добротный.

Что вы скажете о парне двадцати двух лет отроду и весом в двести двадцать фунтов, который может наносить удары вдвое более тяжелые, чем мои лучшие удары? Это он, мой мальчик,

Юный Пэт Глэндон—вот то имя, под которым он будет бороться. Я все хорошенько обдумал. Лучшее, что вы можете сделать,—это приехать сюда к нам первым же поездом.

Я воспитал и тренировал его. Все, что я когда-либо знал, я вбил ему в голову. И, может, вы мне не поверите, но он прибавил к этому еще и от себя. Он—прирожденный боксер. В смысле чувства времени и расстояния, он—чудо. Чувство времени у него развито до секунды, а чувство расстояния—до дюйма, он сам не думает об этом—это инстинкт. Его короткий шестидюймовый толчок усыпит противника скорее, чем толчок со всего размаха большинства ребят.

Теперь принято болтать о преимуществах белой расы. Он—воплощение всех этих надежд и упований. Приезжайте и поглядите сами. Когда вы развозили повсюду Джеффри, то были помешаны на охоте. Приезжайте, и вы здесь увидите такую охоту и рыбную ловлю, что ваши кинематографические «боевики» покажутся вам жалкой дешевкой. Я пошлю с вами на охоту Юного Пэта. Сам я уже бродить по горам не в силах. Поэтому-то я и посылаю за вами. Я хотел сам быть его импрессарио. Но об этом нечего и говорить. Я уже готов и, очевидно, скоро выйду в тираж. Итак, двигайтесь скорее с места. Я хочу, чтобы вы были его импрессарио. Это дело—клад для вас обоих, но я хочу сам составить договор.

Преданный вам Пэт Глэндон.

Стьюбенер был сбит с толку. С первого взгляда ему показалось, что это шутка,—боксеры ведь известные шутники,—и он пытался отыскать в этом послании тонкую руку Корбетта или добродушную лапу Фицсиммонса. Но если это послание было подлинным,—на него стоило обратить внимание. Это он знал. Пэт Глэндон сошел с арены задолго до его времени. Еще мальчиком он присутствовал на состязании между Пэтом Глэндоном и Джэком Дэмпсей в пользу последнего. Но уже в те времена его звали «Старым Пэтом», и он давно уже числился покинувшим арену. Он был предшественником Сэлливэна и боролся по старинным «Лондонским Правилам Призового Бокса», хотя в последних, закатных своих выступлениях руководствовался вновь принятыми новыми правилами маркиза Куиноберри.

Какой боксер или любитель бокса не знал Пэта Глэндона? Хотя из видевших его в расцвете немногие остались в живых, и не много оставалось людей, вообще когда-либо видевших его на арене,—но его имя все же было занесено в анналах арены, и ни один спортивный справочник не обходился без упоминаний о нем. Его слава была весьма парадоксальна. Ни один боксер не ставился выше его,

при чем сам он ни разу не удостоился звания чемпиона. Его преследовали неудачи, и он был известен как боксер-неудачник.

Четыре раза в жизни он должен был получить звание чемпиона тяжеловесов, и каждый раз он вполне заслуживал эту честь. Первый раз это было на барже, в бухте Сан-Франциско, и чемпион, казалось, уже выбился из сил,—но в этот момент Пэт Глэндон повредил себе руку. На одном из островков Темзы, боксируя в воде поднимающегося пролива, глубиною в шесть дюймов, он сломал себе ногу, когда, казалось, победа была на его стороне; в Техасе, в тот незабвенный день, когда противник уже сдавался, ворвалась полиция, и пришлось борьбу прекратить. И, наконец, последний бокс в Павильоне Механиков в Сан-Франциско—он оказался жертвой тайного соглашения рефери и небольшого синдиката заинтересованных в его поражении лиц. Все шло благополучно, но когда Пэт Глэндон нокаутировал противника ударом правой руки в челюсть, а левой—в солнечное сплетение,—рефери самым спокойным образом обвинил его в неправильном ударе. Все секунданты, все эксперты бокса и весь спортивный мир знали, что о неправильном ударе не могло быть и речи. Но Пэт Глэндон, по общей традиции боксеров, подчинился решению рефери. Он подчинился и принял это событие, как новое подтверждение своей неудачливости.

Таков был Пэт Глэндон! Стьюбенера смущал лишь вопрос: был ли Пэт автором этого письма, или нет. Он взял письмо с собою в город. «Что сталось с Пэтом Глэндоном?», обращался он, вместо приветствия ко всем причастным к боксу лицам в то утро. Казалось, никому это не было известно. Некоторые полагали, что он уже умер, но точных сведений никто дать не мог. Заведующий отделом бокса одной из утренних газет просмотрел все анналы и удостоверил, что смерть Пэта Глэндона нигде не была отмечена. Только Тим Донован дал ему руководящую нить для решения этой задачи.

— Ну разумеется, он еще жив,—сказал он.—С чего ему помирать? Такой крепкий парень, да и себя никогда зря не расходовал. Он сколотил себе капиталец и—лучше того—сумел сберечь его и выгодно поместить. Он одновременно держал три кабачка. И здорово заработал на них, когда в один прекрасный день их продал. Да, полагаю, что как раз после этой продажи я и видел его в последний раз. Этому уже лет двадцать будет, а может—и больше. Его жена только что померла тогда. Он шел к перевозу. «Куда, старина?», спросил я. «Уезжаю в леса,—отвечал он.—Хватит с меня. Прощай, Тим, мой мальчик». И больше я его с тех пор не видал. Я уверен, что он еще жив.

— Вы сказали, что у него умерла жена, а дети у него были?—спросил Стьюбенер.

— Да, один ребеночек. Он его держал на руках в тот день.

— Это был мальчик?

— Как я могу это знать!

Тогда Сэм Стьюбенер принял окончательное решение, и ночь застала его в пульмановском вагоне, мчавшем его в дикие дебри Северной Калифорнии.

ГЛАВА II

Ранним утром поезд извергнул Стьюбенера на станции Дир-Лик, и ему с добрый час пришлось потоптаться на месте, пока не открылись двери кабачка. Нет, содержатель кабачка ничего не знал о Пэте Глэндоне, никогда не слыхал о нем, и если он и живет в этих краях, то верно где-нибудь подальше, в глуши. Не слыхал ничего о Пэте Глэндоне и единственный завсегдатай этого заведения. В гостинице Стьюбенеру также ничего не удалось добиться. Он напал на след, только когда открылись лавка и почта.

— О да, Пэт Глэндон живет в наших краях. Вы должны поехать по направлению к Альпайну, это миль сорок отсюда. Альпайн—стоянка дровосеков. От Альпайна вам придется проехать верхом до Антилоповой Долины и перебраться через перевал к Медвежьему Ручью. Пэт Глэндон живет где-то за этим ручьем. В Альпайне, верно, уж знают—где именно. Да, конечно, с ним живет и молодой Пэт. Лавочник сам видел его. Он года два назад был как-то в Дир-Лике. Старый Пэт лет пять не показывался здесь. Он покупал свои запасы в лавке и платил всегда чеками. Он был уже весь седой. Странный, чудной старик.—Больше лавочник о них ничего не знал, но ребята в Альпайне дадут ему все остальные указания.

Стьюбенер был вполне удовлетворен. Молодой Пэт Глэндон существовал столь же несомненно, сколь и старый Глэндон, и оба они жили где-то в этой глуши. Эту ночь импрессарио провел на стоянке дровосеков в Альпайне и ранним утром поднялся по горной тропе к Антилоповой Долине. Он проехал перевал и спустился к Медвежьему Ручью. Он ехал весь день по самой дикой и суровой местности, какую когда-либо видел, и на закате свернул к Долине Пинто. Тропа была настолько крута и узка, что он не раз предпочитал сойти с лошади и итти пешком.

Было одиннадцать часов ночи, когда он сошел перед бревенчатой хижиной. Два громадных охотничьих пса приветствовали его лаем. Затем Пэт Глэндон открыл дверь, бросился ему на шею и ввел его в хижину.

— Я знал, что вы приедете, Сэм, мой мальчик,—говорил Пэт, ковыляя по комнате, разводя огонь, приготовляя кофе и поджаривая большой кусок медвежатины.—Малый сегодня дома не ночует. У нас

мясо подходило к концу, и он, как солнце село, ушел на охоту. Но я больше ничего не скажу. Подождите, пока вы его не увидите. Он к утру вернется, и вы его испытаете. Перчатки здесь. Но подождите—вы его увидите.

Что касается меня, то я—человек конченный. Мне в январе исполнится восемьдесят один год—это хороший возраст для бывшего боксера. Но я всегда берег свое здоровье, Сэм, никогда поздно не засиживался и не жег свечи с двух концов. Моя свеча была чертовски хороша, и я ею умело пользовался,—вы должны признать это, глядя на меня. Я и малого научил тому же. Что вы скажете о двадцатидвухлетнем парне, который ни разу в жизни не прикасался к спиртному и никогда еще не курил. Вот он какой! Он ростом—великан и всегда вел нормальный образ жизни. Подождите судить, пока вы не были с ним на охоте. Вы, налегке, будете изнемогать от усталости, а он как ни в чем не бывало будет тащить все снаряжение, да и громадного зверя в придачу. Он—дитя вольного воздуха, и ни зимой ни летом не спал еще под крышей. Он всегда спал на воздухе,—так я воспитал его. Единственное, что меня смущает—как он будет спать в городе и как перенесет табачный дым на арене. Дым—это убийственная штука, когда на арене ловишь ртом воздух. Но довольно, Сэм, мой мальчик. Вы устали, и вам, наверно, хочется спать. Подождите, вы его увидите—вот и все.

Но Пэтом Глэндоном овладела старческая болтливость, и он долго не давал Стьюбенеру сомкнуть глаз.

— Он, этот малыш, пеший может загнать оленя,—начал Пэт снова.—Отличная тренировка для легких—охотничья жизнь. Он не много и знает о другой жизни, хотя и почитывал по временам кое-какие книги да разные стишки. Он совершенно нормален—вы это увидите сразу, как только на него взглянете. В нем—крепкая, старая ирландская закваска. Иногда он несет всякую околесицу, и я боюсь, что он верит во всяких волшебниц, фей и прочий вздор. Он любит природу, как никто, и боится больших городов. Он много читал о них, но самый большой город, какой он в своей жизни видел, это Дир-Лик. Он находит, что города следует уничтожить—в них слишком много людей. Тому прошло два года—он тогда в первый и последний раз увидел локомотив и поезд.

Частенько меня смущает мысль, что я ошибся, воспитывая его среди природы. Это воспитание дало ему силу, выносливость и жизненный дух дикого бычка. Ни один выросший в городе человек не сможет с ним справиться. Я готов допустить, что Джеффри, в свои лучшие годы, мог слегка утомить его, но только слегка. Малый может переломить его как соломинку. А с виду этого никак не скажешь. В этом-то и заключается чудо. Он на первый взгляд

покажется вам лишь красивым неотесанным малым,—все дело заключается в качестве его мускулов. Но подождите, вы увидите его—вот и все.

У мальчика есть странное тяготение к цветам, небольшим лужайкам, к озаренным луной соснам, ветреным закатам и восходам с вершины старой Бальди. Он постоянно рисует всякие картинки и читает «Люцифер или ночь». Эти стихи он достал у рыжей учительницы. Но это все только по молодости лет. Он втянется в борьбу, едва примется за нее, но будьте готовы ко всяким сюрпризам в первые дни жизни в большом городе.

Старик помолчал.

— Прекрасный знак: он робеет перед женщинами. Они не скоро станут поперек его дороги. Он не может понять этих созданий и пока чертовски мало встречался с ними в наших горах. Эта учительница там, в Сэмсон-Флэте, набила ему голову всей этой стихотворной чушью. Она здорово втюрилась в малого, а он и не подозревал об этом. У нее были прекрасные волосы—она не здешняя была, а оттуда, снизу, из долины,—и она со временем пришла в полное отчаяние и бегала за ним, потеряв всякий стыд. И что бы, вы подумали, сделал малый, когда понял в чем дело? Он перепугался, как кролик. Он забрал с собой одеяла, охотничье снаряжение и удрал в высокие леса. Я с добрый месяц не видал его, а затем он как-то прокрался ко мне, как стемнело, и удрал до солнечного восхода. Он и поглядеть не хотел на ее письма. «Сожги их», сказал он. Я их и сжег. Дважды приезжала она верхом из Сэмсон-Флэта, и мне было жаль это юное создание. Она проголодалась по мальчугану—это было видно по ее лицу. Три месяца спустя она бросила школу и поехала к себе домой,—тогда мальчуган вернулся, и мы снова зажили вместе.

Женщины погубили немало хороших боксеров, но его-то они не погубят. Он краснеет, как девушка,—стоит какой-нибудь юбке взглянуть на него во второй раз или слишком долго засмотреться в первый. А они все пялят на него глаза. Но когда он бьется, когда он бьется!—бог мой—в нем вспыхивает кровь древнего дикого ирландца и направляет его удары. Не подумайте только, что он выходит из себя. Я и в лучшие свои годы не был так хладнокровен, как он. Я думаю, виною всех моих неудач была именно моя горячность. Но он—глетчер! Он в одно время горяч и холоден,—раскаленная проволока, вделанная в лед!

Стьюбенер дремал, но бормотанье старика разбудило его. Он сонно прислушался к его словам.

— Клянусь богом, я сделал из него человека, дал ему кулаки, поставил его на ноги и снабдил зоркими, здоровыми глазами. Я-то

хорошо знаю дело и внимательно слежу за всеми новшествами. Припадание? Разумеется, он знает все приемы и все способы сберечь силу. Он никогда не двинется на два дюйма, если для удара достаточно двинуться на полтора. Если он захочет, то может прыгнуть как кенгуру. Защита? Подождите—вот вы увидите. Она еще лучше ему удается, чем нападение. Он поспорит с Гетером Джэксоном и побьет Корбета в его лучших боях. Говорю вам, я всему обучил его, всем решительно приемам, и он еще сам усовершенствовал мою науку. Он—гений бокса. И у него не было недостатка в товарищах для тренировки. Я давал ему художественную отделку, а они—научили страшным ударам. Наши крепыши не робеют и ничем не смущаются. Это настоящие быки или громадные серые медведи, когда дело доходит до охвата. А он играет с ними. Слышите меня, любезный? Он играет с ними, как вы или я стали бы играть с крохотными щенками.

Стьюбенер снова проснулся и услыхал бормотанье старика:

— Самое странное, что он не считает бокс серьезным делом. Он дается ему так легко, что представляется какой-то игрой. Но подождите, пока он не напал на ловкого боксера. Вот и все, подождите! Вы тогда увидите, как лед растает, и на противника посыплется град самых изящных, теоретически обоснованных ударов, какие вам когда-либо приходилось видеть.

В холодном полумраке горного рассвета Старый Пэт поднял Стьюбенера из-под одеял.

— Он поднимается по тропе,—хрипло прошептал он.—Выходите и поглядите на величайшего борца, какого когда-либо видела арена или увидит в ближайшую тысячу лет.

Импрессарио, протирая тяжелые от сна глаза, поглядел в открытую дверь и увидел появившегося на просеке молодого гиганта. В одной руке он держал винтовку, а на плечах его лежал тяжелый олень. Юноша шел так легко, словно его ноша не имела никакого веса. Его одежда была груба и состояла из синих шаровар и открытой у ворота шерстяной рубашки. Куртки у него не было, а на ногах, вместо охотничьих сапог, были мокассины. Стьюбенер отметил, что походка его мягка и эластична, как у кошки. Нельзя было предположить, что в нем двести двадцать фунтов веса, не считая веса убитого оленя. Юноша с первого взгляда произвел на импрессарио сильное впечатление. В нем сразу чувствовалась необычайная мощь, но в то же время от него веяло чем-то странным и непривычным. Это был новый тип,—нечто отличное от обычного типа боксеров. Он казался созданием этих дебрей, ночным блуждающим призраком волшебной сказки или старинной народной легенды, а не юношей двадцатого века.

Стьюбенер скоро понял, что Юный Пэт не очень-то разговорчив. Когда старик Пэт представил их друг другу, он, ни слова не говоря, протянул свою руку и молча принялся за работу—развел огонь и приготовил завтрак. На вопрос отца, где был убит олень,—он удостоил произнести всего два слова: «Южный Форк».

— Одиннадцать миль через горы,—горделиво пояснил старик,— и такая тропа, что у вас разорвалось бы сердце.

Завтрак состоял из черного кофе, хлеба и невероятного количества поджаренной на углях медвежатины. Парень хищно пожирал мясо, и Стьюбенер догадался, что оба Глэндона привыкли к строго мясной диэте. Разговор поддерживал один Старый Пэт, но к лежащему у него на сердце вопросу он приступил только по окончании трапезы.

— Пэт, мой мальчик,—начал он. Ты знаешь, кто этот джентльмен?

Юный Пэт утвердительно кивнул головой и бросил быстрый, многозначительный взгляд на импрессарио.

— Ладно, он увезет тебя с собой в Сан-Франциско.

— Я бы охотнее остался здесь, отец,—гласил ответ.

Стьюбенер почувствовал некоторое разочарование. Неужели эта поездка окажется игрой впустую? Этот парень—не боксер, он не мечтает об арене и не рвется в бой. Громадное тело—этого еще мало для того, чтобы стать боксером. Этим никого не удивишь. Такие громадные туши обычно просто заплывают жиром.

Но в Старом Пэте вспыхнула древняя кельтская ярость, и в голосе его зазвучали резкие повелительные ноты:

— Ты поедешь в город и будешь биться, мой мальчик. Я тебя подготовил к делу, и ты его выполнишь.

— Хорошо,—неожиданно где-то в глубине груди прозвучал апатичный ответ.

— И будешь биться как дьявол,—прибавил старик.

Снова Стьюбенер почувствовал разочарование,—в глазах юноши не было ни огня, ни блеска, когда он сказал:

— Хорошо. Когда мы двинемся в путь?

— О, Стьюбенер хотел бы поохотиться и половить рыбы в наших краях, а затем испытать тебя в боксе.—Он посмотрел на Стьюбенера—тот кивнул головой.—Раздевайся и покажи свое уменье.

Час спустя Сэму Стьюбенеру все было ясно. У него как бы открылись глаза. Он сам был боксером в свое время—к тому же тяжеловесом, и поэтому лучше всякого специалиста мог судить о качествах боксера. За всю свою жизнь он не встречал такого боксера.

— Поглядите, какая мягкость во всем,—нараспев говорил Старый Пэт.—Это настоящая порода. Поглядите на покатость его плеч и оцените его легкие. Все в нем здоровье—все, до последней капельки,

до последней унции. Вы видите перед собой, Сэм, человека—такого никогда еще не было на свете. Все его мускулы свободны. Это не комнатный атлет или любитель атлетики, занимающийся спортом по книжкам. Посмотрите на его мускулы,—они переливаются мягко и лениво, точно крупные, толстые змеи. Подождите, вы еще увидите, как они напрягутся для быстрого; молниеносного удара. Он вам сорок раундов выдержит в любую минуту, да и ста не побоится. Принимайтесь за дело. Пора!

Они приступили к боксу и начали трехминутные раунды с минутой перерыва, и Стьюбенер сразу вернул себе хорошее расположение духа. В этом юноше не было и признака ожирения или апатии, была лишь лениво добродушная игра в приемы бокса, при чем удары отличались точностью и силой, какой отличаются только удары хорошо тренированных, прирожденных боксеров.

— Легче, легче, ребята,—предупредил Старый Пэт.—Сэм уже не тот, что прежде!

Это замечание только подзадорило Сэма—старик того и добивался—и он пустил в ход свой знаменитый, любимый прием: отвлекая противника финтой [1]), он сделал прямой выпад в живот. Но так же быстро, как удар был направлен, Юный Пэт понял, в чем дело, и уклонился, хотя удар и достиг своей цели. В следующий раз он уже не уклонился от удара. Когда Стьюбенер наметил выпад, он двинулся вперед, подставил удару левое бедро. Дело было всего в нескольких дюймах, но весь эффект удара был потерян. И с тех пор, сколько бы Стьюбенер ни старался—его кулак не мог миновать бедра.

Стьюбенеру приходилось в свое время бороться со знаменитыми боксерами, и он с честью поддерживал свою репутацию в чемпионатах. Но здесь не было речи о том, чтобы с честью выпутаться из положения. Юный Пэт играл с ним, проделывая все, что ему хотелось. В обхватах Стьюбенер чувствовал себя беспомощным младенцем. Пэт загонял его с точностью великого мастера—и при этом, казалось, едва замечал его существование. Половину времени он мечтательно смотрел в сторону и разглядывал окружающий их пейзаж. И тут Стьюбенер совершил вторую ошибку. Он принял это за прием, внушенный Старым Пэтом, и попытался наградить противника коротким ударом, но в тот же момент его руки очутились в западне, и он получил по удару в оба уха.

— Инстинктивное чувство удара,—заявил старик.—Этого в голову не вдолбишь, говорю вам. Он—колдун и кудесник. Он чувствует удар не глядя и знает наперед и силу, и расстояние, и красоту его. Я его никогда этому не учил. Это вдохновение. Таким уж он родился!

[1]) Ложный выпад.

Раз, в тесном обхвате, импрессарио с некоторой злобой ткнул перчаткой в рот Юного Пэта. Минуту спустя, в следующем обхвате, Сэм получил ответный удар перчаткой в рот. Движение Пэта не было ни резким, ни грубым, но сила давления была столь велика, что голова откинулась назад, пока не затрещали связки, и Сэм на мгновение подумал, что все кончено. Он ослабил напряжение тела и опустил руки в знак того, что схватка кончена: сразу он почувствовал себя свободным и зашатался на месте.

— Ладно, он подойдет нам,—едва смог он сказать, выражая свое восхищение глазами—у него все еще нехватало дыхания.

Глаза Старого Пэта блестели и увлажнялись от гордости и торжества.

— Как вы думаете, что случиться, если один из этих негодяев вздумает сыграть с ним какую-нибудь штуку?—спросил Старый Пэт.

— Он убьет его, можете быть в этом уверены,—гласил приговор Стьюбенера.

— Нет, он слишком хладнокровен для этого. Он просто выбьет из него все его грязные проделки.

— Давайте, напишем контракт,—сказал импрессарио.

— Погодите, узнайте сначала его настоящую цену!—ответил Старый Пэт.—Я вам поставлю очень серьезные условия. Ступайте-ка с мальчиком на охоту и оцените как следует его легкие и его ноги. Затем мы уже подпишем настоящий прочный договор.

Стьюбенер провел на этой охоте два дня и узнал все, что ему сулил Старый Пэт,—узнал даже больше, чем тот сулил ему. Возвращался он без сил, и спесь с него была сбита. Прожженный импрессарио поражался незнакомству молодого человека с жизнью, но он понял, что провести его не так-то легко. Его нетронутый, девственный ум вращался пока в узком кругу интересов жизни горцев, но его тонкость и проницательность далеко превосходили средний уровень. Он отчасти являлся загадкой для Сэма—городской житель никак не мог понять его пугающего душевного спокойствия. Его ничем нельзя было вывести из себя, а терпение его казалось Сэму чем-то неистощимым и первобытным. Он ни разу не выругался и не произнес ни одного бессмысленного и исковерканного проклятия, что бывает в ходу даже у маленьких мальчишек.

— Я сумел бы выругаться, если бы в этом представилась надобность,—ответил Юный Пэт на вопрос спутника,—Но я полагаю, что мне это никогда не понадобится. А если придется, так и я, вероятно, сумею выругаться.

Старый Пэт решительно и твердо вел свою линию и простился с ними у дверей хижины.

— Пэт, мой мальчик, я, верно, скоро буду читать про тебя в газетах. Я бы охотно поехал с вами обоими, но боюсь, что мне уже с горами расставаться не придется.

Затем, отозвав импрессарио в сторону, старик с яростью накинулся на него:

— Запомните хорошенько то, что я вам много раз повторял. Мальчик благороден и чист. Он и не подозревает о грязной стороне дела. Я скрывал от него, говорю вам. Он ничего не знает о полюбовных сделках. Он знаком лишь с лицевой стороной бокса, с его романтизмом и славой,—я набил ему голову историями о славных боксерах прошлого, хотя, видит бог, их подвиги не очень-то вдохновляли его. Говорю вам, любезный, что я вырезал из газет отчеты о состязаниях, чтобы скрыть их от него,—он думает, я вырезываю их для своего альбома. Он и не подозревает, что люди заранее могут сговориться о результате. Итак, не втягивайте его в какие-нибудь бесчестные сделки. Не вызывайте его на возмущение. Поэтому-то я и поместил в договор пункт о расторжении условий. Первая бесчестная сделка—и договор сам собой уничтожается. Никаких дележей, никаких соглашений с кинематографщиками о количестве раундов. Вы оба будете загребать деньги лопатой. Но ведите игру честно—или вы проиграете. Поняли?

Затем Старый Пэт обратился с прощальным наставлением к сидевшему уже верхом на коне сыну. Юный Пэт крепко натянул поводья и почтительно выслушал старика.

— И что бы ты ни делал—берегись женщин. Женщина—это смерть и проклятие, запомни это хорошенько. Но когда ты найдешь ту, что нужно, единственную,—тогда крепко держись за нее. Она дороже славы и денег. Но сначала ты должен убедиться, что она настоящая, а когда убедишься, то не давай ей ускользнуть от тебя. Схвати ее обеими руками и держи ее крепко. Держи ее, хотя бы весь мир разлетелся в куски. Пэт, мальчик мой, хорошая женщина—это... хорошая женщина. Это—начало и конец всего.

ГЛАВА III

Волнения Сэма Стьюбенера начались тотчас же по приезде в Сан-Франциско. Нельзя сказать, чтобы у Юного Пэта был дурной характер, или чтобы большой город раздражал его, как боялся его отец. Наоборот, он был необыкновенно кроток и спокоен, но он тосковал по своим любимым горам. В душе он был ошеломлен и оглушен городом, но выступал по шумным улицам невозмутимый, как краснокожий индеец.

— Я приехал сюда для состязаний,—заявил он к концу первой недели.—Где Джим Хэнфорд?

— Такой крупный чемпион не захочет смотреть на вас,—отвечал Сэм.—Ступайте и создайте себе сначала имя—вот что он вам скажет.

— Я могу поколотить его.

— Но публика этого не знает. Если вы одержите верх над ним,—вы сразу станете чемпионом мира, но ни один боксер не стал чемпионом со своего первого выступления.

— А я могу.

— Но публика этого не знает, Пэт. Она вовсе не пойдет смотреть на вас. А деньги нам приносит только толпа. Поэтому-то Джим Хэнфорд и на секунду не обратит на вас внимания. Это не представляет ему ни малейшей выгоды. Помимо того, он получает сейчас по три тысячи долларов в неделю на сцене «Мюзик-Холла», по контракту на двадцать пять недель. Неужели вы думаете, что он бросит все это ради состязания с человеком, о котором никто никогда ничего не слыхал. Вам придется кое-что сначала проделать и установить рекорд. Вам придется начать с мелких местных боксеров—ребят в роде Чэба Коллинза, Буйного Келли и Летучего Голландца. Когда вы их побьете,—вы станете на первую ступень лестницы. Но затем вы будете подниматься вверх со скоростью воздушного шара.

— Я хочу померяться с этими тремя на одной арене. Я их поколочу одного за другим, по порядку,—решил Пэт.—Устройте мне это дело.

Стьюбенер рассмеялся.

— В чем дело? Или вы мне не верите, что я смогу их побить?

— Я знаю, что вы сможете,—успокоил его Стьюбенер.—Но это так не делается. Вам придется побеждать их по одному, а не всех зараз. Да и помимо этого, помните, что я импрессарио, и что я свое дело знаю. Надо хорошенько разработать дело, и я, будьте в том уверены, себя провести не дам. Если нам повезет, то годика через два вы доберетесь до вершины и будете чемпионом мира, с кругленьким капитальцем на придачу.

При этой перспективе Пэт тяжело вздохнул, но затем весь просиял.

— И тогда я смогу подать в отставку и вернуться домой к старику,—сказал он.

Стьюбенер хотел возразить ему, но сдержался. Каким бы странным и необычным ни казался Стьюбенеру этот будущий чемпион,—импрессарио был уверен, что, достигнув вершины, тот пойдет тем же путем, что и другие чемпионы во славе. Да затем два года—

срок весьма не близкий, и пока что им придется не мало поработать.

Когда Пэт начал бродить бесцельно по комнатам, читая бесконечные стихи и романы, взятые им в библиотеке,—Стьюбенер послал его жить на ранчо, расположенное на другой стороне бухты, под бдительный надзор Снайдера Уолша. Через неделю Снайдер шепнул Стьюбенеру, что дело это дутое, и охранять питомца не за чем. Он исчезал на заре и появлялся домой лишь с наступлением темноты, ловил форелей по ручьям и горным потокам, стрелял перепелок и кроликов и преследовал одинокого ловкого оленя, знаменитого тем, что он десять лет не давался ни одному охотнику. Это Снайдер обленился, пока его питомец непрерывно тренировался.

Как Стьюбенер и ожидал, директора боксерского клуба высмеяли его «неизвестного». Разве все леса не кишели «неизвестными», претендующими на звание чемпиона? Предварительное испытание раунда на четыре,—ладно, это они еще могут допустить. Но крупную схватку—никогда. Стьюбенер твердо решил, что дебют Юного Пэта состоится в крупной схватке, и, благодаря своему престижу, ему в конце концов удалось это устроить. После многих проволочек один из клубов согласился дать Пэту Глэндону дебют в пятнадцать раундов с Буйным Келли, на приз в сто долларов. Молодые боксеры обычно принимали имена прежних героев арены, и потому никто не подозревал, что он был сыном великого Пэта Глэндона. Стьюбенер молчал—он приберегал этот сюрприз на закуску.

Наступил вечер борьбы—после месяца ожиданий. Стьюбенер сильно беспокоился. Его профессиональная репутация была поставлена на карту. Юноша во что бы то ни стало должен был взять приз, и Стьюбенер был поражен, увидя, как Пэт, сидевший в своем углу каких-нибудь пять минут, побледнел, здоровая краска сбежала с его щек и сменилась болезненно-желтыми тонами.

— Смелее, мальчик,—сказал Стьюбенер, хлопая его по плечу.— Первый раз всегда страшновато, а тут еще Келли нарочно заставляет нас ждать, чтобы его противник успел хорошенько развинтиться.

— Нет, это совсем не то,—отвечал Пэт.—Это табачный дым. Я не привык к нему, и мне дурно.

Импрессарио сразу почувствовал облегчение. Будь человек силен как Самсон, но если он по каким-либо причинам может заболеть,— он никогда не добьется положения в мире призовых боксеров. А что касается табачного дыма, юноша со временем привыкнет к нему—вот и все.

Публика встретила выход Юного Пэта молчанием, но когда Буйный Келли прополз под веревками на арену,—его приветствовали громкими криками. Его наружность вполне соответствовала его имени.

Это был мужчина свирепого вида, черный, весь обросший волосами, с громадными мускулами. Весил он полных двести фунтов. Пэт с интересом посмотрел на своего противника, но увидел дикую угрожающую физиономию. Их представили публике, и им, по обычаю, пришлось пожать друг другу руки. Едва их перчатки соприкоснулись, Келли заскрежетал зубами, скорчил свирепую гримасу и пробормотал:

— Берегись, парень!—Он грубо оттолкнул руку Пэта и прошипел:—Я тебя проглочу, как щенка!

Движение Келли вызвало общий смех, и все громко и весело старались догадаться, что сказал Келли своему противнику.

Вернувшись в свой угол и ожидая удара гонга, Пэт обернулся к Стьюбенеру.

— Чего это он на меня злится?—спросил он.

— Он и не думает злиться,—ответил Стьюбенер.—Это его обычная манера запугивать противника. Это—словесный турнир.

— Но ведь это не имеет ни малейшего отношения к боксу!—заметил Пэт, и Стьюбенер, бросив на него быстрый взгляд, отметил, что глаза его были такие же кроткие и синие, как всегда.

— Будьте осторожнее,—предупредил импрессарио, когда прозвучал гонг к первому раунду, и Пэт встал на ноги.—Он способен наброситься на вас, как людоед.

И действительно, Келли бросился к нему с дикой яростью, словно готовясь его проглотить. Пэт непринужденно и спокойно сделал несколько шагов, выждал подходящий момент, шагнул в сторону и затем ткнул правой рукой в челюсть противника. Потом он, стоя на месте, с любопытством смотрел на все происходящее. Бой был окончен. Келли упал на пол, как раненый бык, и продолжал неподвижно лежать, пока арбитр, нагнувшись над ним, выкрикивал десять секунд в его неслышащие уши. Когда секунданты подошли, чтобы его поднять, Пэт опередил их. Он поднял громадное инертное тело, снес его на руках в угол и передал секундантам.

Полминуты спустя Келли поднял голову и слегка приоткрыл глаза. Он бессмысленно огляделся кругом и хриплым голосом обратился к одному из секундантов:

— Что случилось? Крыша здесь рухнула, что ли?

ГЛАВА IV

Хотя общественное мнение считало, что Глэндон обязан своей победой случайной удаче, но Стьюбенеру все же удалось устроить ему матч с Руфом Мэзон. Матч состоялся через три недели в помещении Сиерра-Клуба в Дримлэнд-Ринке. Публика и на этот раз не видала и не поняла, что, собственно, случилось. Руф Мэзон был тяжеловес,

известный во всем округе своим уменьем и ловкостью. Когда прозвучал гонг для первого раунда, оба боксера встретились на середине ринга. Ни один из них не бросился на другого и не начал бокса. Согнув руки и почти соприкасаясь перчатками, они как бы ощупывали друг друга. Это продолжалось секунд пять. Затем внезапно случилось то, что и один из ста зрителей не успел рассмотреть. Руф Мэзон сделал правой рукой финту. Очевидно, это была не настоящая финта, а нащупывание, угрожающая проба возможного удара. В это мгновение ударил и Пэт. Они стояли так близко друг к другу, что кулак Пэта едва прошел расстояние в восемь дюймов. Это был короткий выпад левой рукой, и для его выполнения надо было быстро повернуть плечо. Удар пришелся по подбородку, и пораженные зрители увидели, как ноги Руфа Мэзона подогнулись, и он всем телом рухнул на пол арены. Но арбитр все видел и начал отсчитывать секунды. Пэт снова отнес своего противника в его угол, и лишь десять минут спустя Руф Мэзон смог при помощи своих секундантов подняться и, еле двигая подгибающимися ногами, добраться до своей уборной. Пораженные зрители с недоумением и недоверием разглядывали его походку, когда он двигался по направлению к своей уборной.

— Неудивительно,—заявил Руф одному из репортеров,—что Буйный Келли подумал—не рухнула ли на него крыша.

Когда и Чэб Коллинз был выбит из строя на двенадцатой секунде первого раунда,—а бокс был назначен на пятнадцать раундов,—Стьюбенер решил поговорить с Пэтом.

— Вы знаете, как вас теперь называют?—спросил он.

Пэт отрицательно покачал головой.

— Глэндон—с первого удара.

Пэт вежливо улыбнулся. Ему было мало интересно, как его называют. Прежде чем вернуться в свои любимые горы, ему необходимо было выполнить определенное задание. Он равнодушно выполнял его—вот и все.

— Так не годится,—продолжал импрессарио, сопровождая свои слова зловещим покачиванием головы.—Так быстро выводить своих противников из строя нельзя. Вы должны предоставить им больше времени.

— Я приехал сюда, чтобы состязаться, не правда ли?—удивленно спросил Пэт.

Стьюбенер снова покачал головой.

— Дело вот в чем, Пэт. Вам в боксе приходится быть благородным и великодушным. Не подводите остальных боксеров. Наконец, это нехорошо по отношению к публике. Она за свои деньги хочет получить интересное зрелище. Да затем никто не захочет с вами бороться.

Вы их всех запугаете. Как хотите вы, чтобы люди шли смотреть на десятисекундный бой? Подумайте—стали бы вы платить доллар или пять долларов, чтобы посмотреть на десятисекундный матч?

Доводы Стьюбенера убедили Пэта, и он обещал давать публике оплаченное ею зрелище; при этом он заявил, что лично он предпочел бы ловить рыбу, чем смотреть на матч хотя бы в сто раундов.

Пока что Пэту не удавалось занять никакого места в мире боксеров. Местные любители бокса смеялись при упоминании его имени. Оно вызывало в их памяти забавные эпизоды его выступлений и замечание Келли о крыше. Никто из них не знал, как Пэт боксирует. Им были неизвестны его дыхание, его выдержка и сила и уменье сопротивляться сильному противнику в продолжительном бою. Он пока доказал лишь уменье пользоваться «пэнчем» [1]) и отвратительную склонность к «флюку» [2]).

Итак, четвертый матч был устроен с Пэтэ Соссо, португальцем из Бутчертоуна. Соссо был известен только своими ловкими приемами и штуками, какие он выкидывал на арене. Пэту не пришлось тренироваться перед боем. Вместо того он совершил короткое и печальное путешествие в горы и похоронил своего отца. Старый Пэт знал состояние своего здоровья и свое сердце—оно внезапно остановилось.

Молодой Пэт вернулся в Сан-Франциско перед самым матчем и сразу сменил свой дорожный костюм на костюм боксера,—но зрителям все же пришлось прождать его минут десять.

— Помните, дайте ему возможность посостязаться,—предупредил Стьюбенер, пока Пэт пролезал под канатом.—Играйте с ним, но играйте серьезно. Дайте ему продержаться раундов десять или двенадцать, а затем уже выводите из строя.

Пэт старался выполнить эти указания, хотя ему очень легко было сразу покончить с Соссо. Гораздо труднее было выдерживать все атаки увертливого португальца и отражать их, не причиняя ему в то же время вреда. Зрелище было очень красивое, и публика была в восторге. Ураганные атаки Соссо, его яростные финты, отступления и нападения—требовали большого искусства со стороны Пэта, но все же и ему пришлось слегка пострадать от них.

В перерывах Стьюбенер хвалил его, и все сошло бы гладко, если бы Соссо на четвертом раунде не разыграл бы свой самый эффектный трюк. В одной из схваток Пэт нанес удар в челюсть Соссо, и, к его удивлению, последний опустил руки и, шатаясь, откинулся назад; глаза его блуждали, и ноги подгибались, как у основательно накачавшегося пьяницы. Пэт ничего не понимал. Этот удар не был

---

[1]) Удар сжатым кулаком.

[2]) Случайный, счастливый удар.

«нокаутом», а между тем противник его готов был упасть на пол. Пэт тоже опустил руки и удивленно разглядывал шатающегося противника. Соссо откачнулся назад, чуть не упал, затем овладел собой, но снова закачался и как-то боком, слепо ткнулся вперед.

И тут Пэт, в первый и в последний раз за свою карьеру боксера, сплоховал. Он отошел в сторону, чтобы дать падающему с ног противнику пройти. Все еще пошатываясь, Соссо внезапно сделал выпад правой рукой. Удар пришелся Пэту прямо по челюсти, с такой силой, что затрещали зубы. Публика разразилась криками восторга. Но Пэт их не слыхал. Он видел перед собой лишь Соссо и его вызывающую усмешку,—куда только девалась его слабость. Место, куда пришелся удар, сильно болело, но Пэта гораздо больше оскорблял подвох противника. Ярость, клокотавшая некогда в его отце, поднялась в нем. Он тряхнул головой, как бы сбрасывая с себя боль удара, и выпрямился перед противником. Все это произошло в следующий миг. Соссо попытался сделать финту, Пэт левой рукой нанес удар в солнечное сплетение, а правой одновременно ударил в челюсть. Последний удар настиг рот Соссо еще до того, как он без памяти упал на пол. Доктора с полчаса провозились над ним, чтобы привести его в чувство. На рот пришлось наложить одиннадцать швов, а затем его отправили домой в санитарной карете.

— Мне очень жаль, что так случилось,—сказал Пэт Стьюбенеру.—Боюсь, что я плохо владел собой. Я буду за собой следить на арене. Отец всегда предостерегал меня. Он говорил, что несдержанность заставила его проиграть немало матчей. Я не знал, что я так легко теряю над собой власть, но теперь, когда я это знаю, я сумею держать себя в руках.

И Стьюбенер верил ему. Он дошел до того, что верил своему питомцу на-слово.

— Вам нечего волноваться,—сказал он.—Вы ведь всегда являетесь хозяином положения на арене.

— Да, в любую секунду и на любом расстоянии,—подтвердил Пэт.

— И вы можете вывести противника из строя в любую минуту, когда только захотите?

— Да, конечно, могу. Я бы не хотел хвастать. Но это, очевидно, врожденная способность. Глаз всегда показывает мне слабое место противника, я умею использовать его, а чувство времени и расстояния—моя вторая натура. Отец говорил, что это дар свыше, а я думал, что он мне льстит. Теперь, когда я попробовал драться с этими боксерами, я вижу, что он был прав. Он говорил, что у меня мозг и мускулы работают в правильном соотношении.

— В любую секунду и на любом расстоянии?—задумчиво повторил импрессарио.

Пэт утвердительно кивнул головой, и Стьюбенер, доверявший ему безусловно, увидел перед собой столь блестящие перспективы, что они могли бы вызвать из могилы Старого Пэта.

— Ладно, не забывайте: мы обязаны доставлять публике за ее деньги интересное зрелище,—сказал Сэм.—Мы с вами будем решать, сколько раундов продлится матч. Следующее состязание у вас будет с Летучим Голландцем. Предположим, что вы продержите его все пятнадцать раундов и выбьете только на последнем. Тогда вы покажете по-настоящему, как вы умеете боксировать.

— Ладно, Сэм,—гласил ответ.

— Это будет для вас испытанием,—предупредил его Стьюбенер.— Вам, может, не удастся выбить его на последнем раунде.

— Слушайте хорошенько!—Пэт остановился, чтобы придать вес своему обещанию, а затем взял в руки томик стихов Лонгфелло [1]).— Если я его не выбью, то никогда больше не стану читать стихов, а это кое-что да значит для меня.

— Да, конечно!—торжествующе воскликнул импрессарио.—Хотя я никак не могу понять, зачем вам вся эта ерунда нужна.

Пэт вздохнул, но ничего не ответил. За всю свою жизнь он видел лишь одного человека, интересовавшегося поэзией, и это была как раз та рыжая учительница, от которой он искал спасения в лесах.

ГЛАВА V

— Куда это вы?—удивленно спросил Стьюбенер, глядя на часы.

Пэт, положив руку на ручку двери, остановился и повернулся к нему.

— В Академию Наук,—сказал он.—Сегодня вечером один профессор прочтет лекцию о Броунинге, а Броунинга без посторонней помощи понимать очень трудно. По временам мне кажется, что мне следовало бы посещать какие-нибудь вечерние курсы.

— Но, чорт побери, Пэт!—в ужасе воскликнул Стьюбенер.—Сегодня вечером ваш матч с Летучим Голландцем.

— Я знаю. Но мне на арене нечего делать до половины десятого или до без четверти десять. Лекция кончится в девять часов пятнадцать минут. Если вы хотите, то, для верности, можете заехать за мной на машине.

Стьюбенер беспомощно пожал плечами.

---

[1]) Лонгфелло (1807—1882)—знаменитый американский поэт, перенесший английский идиллический романтизм на американскую почву. Его созерцательная поэзия—одна из форм „ухода от жизни“ мелкобуржуазной американской интеллигенции 30—40-х годов (в переломный момент начала развития промышленного капитала).

— Вам нечего беспокоиться,—убеждал его Пэт.—Отец обычно говорил, что хуже всего приходится в часы перед состязанием, и что нередко боксеры теряли, потому что в эти часы вынужденного безделья, раздумывая и беспокоясь, только падали духом. Что ж, вам никогда не придется из-за меня волноваться. Вам, собственно, следовало бы радоваться, что я в состоянии итти слушать лекцию.

И позже, вечером, наблюдая великолепное зрелище пятнадцати раундов бокса, Стьюбенер неоднократно усмехался при мысли, что подумали бы все эти любители бокса, если бы узнали, что этот восхитительный призовой боксер приехал сюда, на матч, из Академии Наук, с лекции о Роберте Броунинге.

Летучий Голландец был молодой швед, отличавшийся необыкновенной любовью к боксу и феноменальной выносливостью. Он никогда не отдыхал, всегда готов был перейти к нападению, и наступал, и боролся от гонга до гонга. Его руки взлетали в воздухе словно цеп, а в обхвате он выдвигал плечи, и едва ему удавалось освободить руку—наносил удар. Это был ураган от старта до финиша [1])—этим он и заслужил свое прозвище. Ему недоставало лишь чувства времени и расстояния. Все же он был победителем во многих состязаниях, потому что из дюжины или более ударов один все же достигал противника. Пэту приходилось стараться—он хорошо помнил, что не должен выбивать противника до пятнадцатого раунда. Хотя ему удавалось избегать серьезных повреждений, он не мог оградить себя от этих неустанно взлетающих перед ним перчаток. Но это была хорошая тренировка, и он, по-своему, наслаждался этим поединком.

— Что ж, можете вы его выбить?—шепнул ему на ухо Стьюбенер в минутный перерыв после пятого раунда.

— Конечно,—был ответ.

— Вы знаете, до сих пор еще никому не удавалось его нокаутировать,—предупредил его Стьюбенер раунда через два.

— Боюсь, что мне придется поломать суставы в таком случае,—улыбнулся Пэт.—Я знаю свой удар и знаю, что что-нибудь должно разбиться. Не пострадает он,—значит пострадают мои суставы.

— Как вы думаете—удастся вам его нокаутировать?—спросил Стьюбенер по окончании тринадцатого раунда.

— В любой момент, говорю вам.

— Ладно, Пэт, дайте ему додержаться до пятнадцатого раунда.

На четырнадцатом раунде Летучий Голландец превзошел самого себя. При первом же ударе гонга он ринулся через всю арену к

---

[1]) Старт — момент начала состязания; финиш — последняя, решающая часть спортивного состязания.

противоположному углу, где Пэт поднимался со своего места. Весь зал разразился криками и рукоплесканиями,—все поняли, что Летучий Голландец играет последнюю ставку. Пэт, чувствуя весь комизм положения, забавлялся тем, что встретил эту ураганную атаку пассивным сопротивлением и не сделал сам ни одного выпада. Ни одного удара, ни одной финты, ничего—на протяжении трехминутного яростного нападения. Это была редкостная картина,—он лишь изредка закрывал левой рукой склоненное лицо или прикрывал правой рукой живот; по временам он, меняя тактику нападения, защищал обеими перчатками лицо, или локтями и руками закрывал середину туловища; он все время двигался, неловко шевелил плечами или, припадая к противнику, парализовал его усилия; не пытаясь бороться и не делая выпадов, он извивался под ураганными атаками противника и градом ударов, падавших с быстротою барабанной дроби на его руки.

Сидящие близко к арене видели всю сцену и оценили ее, но остальные зрители, не разобрав, в чем дело, повскакали с мест, кричали и аплодировали, в ложном предположении, что Пэт беспомощен и не в силах защищаться под градом сыплющихся на него ударов. По окончании раунда пораженные зрители опустились на свои места—Пэт как ни в чем не бывало, спокойно шел в свой угол. От него должно было остаться лишь мокрое место, а ему хоть бы что, точно ничего особенного не происходило.

— Как вам удастся с ним справиться?—взволнованно спросил Стьюбенер.

— В десять секунд,—гласило утверждение Пэта.—Смотрите в оба.

Теперь не могло быть никаких сомнений. Когда ударил гонг, и Пэт вскочил на ноги, все сразу поняли, что в первый раз за матч он будет серьезно бороться со своим противником. На этот счет не ошибался ни один из зрителей. Летучий Голландец, как и все остальные, понял предостережение и, в первый раз за свою карьеру боксера, заметно волновался при встрече на середине арены. Менее одной секунды они простояли друг против друга. Затем он ринулся на Пэта, и Пэт хорошо рассчитанным ударом поверг его замертво на землю.

С этого матча имя Пэта Глэндона начало приобретать известность. Любители бокса и репортеры занялись им. Летучий Голландец был нокаутирован в первый раз в своей жизни. Его победитель показал себя гением самозащиты. Его предыдущие победы не были случайными. Обе его руки были одинаково сильны. Такой великан, как он, пойдет далеко! По утверждению репортеров, прошло то время, что он тратил свои силы на третьестепенных боксеров. Где Бен Мензис, Рифи Ред, Билль Таруотер и Эрнст Лоусон? Пора им было

померяться силами с этим юношей, который показал себя таким замечательным боксером. Где это пропадает его импрессарио, и почему он не посылает вызова им?

А затем в один прекрасный день пришла и слава; Стьюбенер открыл тайну, что этот боксер был не кем иным, как сыном Пэта Глэндона,—Старого Пэта, героя прошлых времен. Его сразу прозвали «Юным Пэтом Глэндон», и любители бокса и репортеры толпились вокруг него и восхищались им, поддерживая и рекламируя его изо всех сил.

Начиная с Бена Мензис и кончая Биллем Таруотером, он вызвал и покаутировал четырех второстепенных боксеров. Ему пришлось не мало попутешествовать для этого—матчи происходили в Гольдфильде, Денвере, Техасе, Нью-Йорке. На это ушли месяцы—не легко было организовать крупные матчи, да и боксерам приходилось порядочно тренироваться.

В течение двух лет он вызвал и победил человек шесть крупных боксеров, стоявших у подножия лестницы тяжеловесов. На ее вершине прочно утвердился «Великий» Джим Хэнфорд, непобедимый чемпион мира. Здесь, на верхних ступенях, восхождение пошло медленнее, хотя Стьюбенер неутомимо посылал вызовы и возбуждал спортивные круги, побуждая боксеров принимать его вызовы. Вилль Кинг боролся в Англии, и Глэндон взялся за Тома Харрисона. Для этого ему пришлось отправиться чуть ли не в кругосветное путешествие—и Пэт победил его в «День Бокса» в Австралии.

А капиталы их все увеличивались и увеличивались. Вместо ста долларов, заработанных им на первом состязании, Пэт получал от двадцати до тридцати тысяч долларов за матч, плюс такие же суммы от кинематографических компаний. Стьюбенер, согласно договора, составленного Старым Пэтом, получал свою долю, и оба—он и Глэндон,—несмотря на крупные расходы, быстро богатели. Это происходило, главным образом, благодаря их умеренному и благоразумному образу жизни. Они оба не были расточителями.

Стьюбенера прельщала недвижимая собственность, и его владения в Сан-Франциско и доходные дома были гораздо значительнее, чем мог предполагать Глэндон. Тайный синдикат игроков, ставящих на боксеров, мог бы дать ему точные сведения о размерах Стьюбенеровских владений,—без ведома Глэндона крупные куши один за другим шли в карман его импрессарио от кинематографических компаний.

Самой серьезной задачей Стьюбенера было оберегать молодого боксера от проникновения в закулисную сторону дела. Эта задача не была трудна. Не занимаясь деловой стороной бокса, Глэндон ею и не интересовался. Помимо того, куда бы их ни закидывала

судьба,—Пэт свободное время проводил на охоте и на рыбной ловле. Он редко бывал в обществе людей из мира арены, был известен своей робостью и любовью к уединению и предпочитал посещение музеев или чтение стихов болтовне с профессионалами. Импрессарио тщательно натаскивал его тренеров, и они держали язык за зубами и воздерживались от малейших намеков на продажность боксеров. Стьюбенер во всех отношениях становился между Глэндоном и окружающим миром. Даже интервью с Глэндоном происходили в его присутствии.

Один только раз обратились непосредственно к Глэндону. Это было накануне матча с Гендерсоном, и в отдельном коридоре ему шопотом было предложено сто тысяч долларов за поражение. К счастью для предлагавшего, Пэт сдержался и дал ему пройти, ничего не отвечая на его слова. Он рассказал эту встречу Стьюбенеру, и тот успокоил его.

— Это все шутка. Они хотели поддеть вас.—Стьюбенер отметил про себя, как засверкали синие глаза.—А может, что-нибудь и похуже. Если бы вы поддались на их уловку, они разгласили бы об этом в газетах и эта сенсация погубила бы вас в конец. Но я не верю этой истории. Теперь такие вещи больше не случаются... Это все сказки, не больше. Это пережитки старых времен. Прежде попадались продажные боксеры, но ни один известный боксер или импрессарио не решился бы проделать таких штук в наше время. Эх, Пэт, люди, занимающиеся боксом, так же чисты и честны, как профессиональные игроки в без-болл; ничего на свете не может быть чище и честнее бокса.

И произнося эти слова, Стьюбенер в глубине души отлично знал, что следующий матч с Гендерсоном продлится не менее двенадцати раундов—так было обещано кинематографической компании—и не дольше четырнадцати раундов. Больше того, он знал, что ставки были так велики, что Гендерсон был сам заинтересован в том, чтобы не держаться дольше четырнадцатого раунда.

К Глэндону больше не обращались, и он выбросил всю эту историю из головы. Теперь он проводил целые дни за цветной фотографией. Это было его последним увлечением. Он любил картины, но сам писать не мог—и нашел компромисс в цветной фотографии. Он повсюду таскал за собой чемоданчик, набитый книгами по интересовавшему его предмету, и проводил долгие часы в темной комнате, занимаясь проявлением снимков. На свете еще не бывало крупных борцов, уделяющих так мало внимания своим профессиональным интересам. Ему не о чем было разговаривать с боксерами и людьми, близко стоящими к боксу, и они его признали человеком угрюмым и необщительным. Репутация, созданная ему газетами,

отличалась не только преувеличением, но и полным непониманием его характера. В изображении репортеров он являлся тупоголовым животным, могучим быком, лишенным человеческих чувств и разума; один из неоперившихся репортеров окрестил его «Первобытным Зверем». Прозвище привилось. Остальная газетная братия с восторгом его подхватила, и с тех пор имя Глэндона никогда не появлялось в печати без прозвища. «Первобытный зверь»—нередко стояло в заголовке или под фотографией крупными буквами и без кавычек. Все знали, кто подразумевается под этим прозвищем. Это заставило его еще более замкнуться в себе и развило в нем горькое предубеждение против газетных писак.

Что касается самого бокса,—его интерес к нему, вначале вялый и спокойный, теперь усилился. Люди, с которыми ему приходилось теперь состязаться, были сильными противниками, и победа над ними давалась не так-то легко и просто, как его первые победы. Это были опытные бойцы, испытанные ветераны арены, и каждый матч являлся своего рода проблемой. Бывали случаи, когда он не мог нокаутировать их в заранее назначенном раунде состязания. Так было с Зульцбергером, немецким гигантом,—он собирался «выбить» его на восемнадцатом раунде, но ему это не удалось,—то же произошло и на девятнадцатом раунде, и лишь на двадцатом ему удалось вывести его из строя.

Удовлетворение боксом—а оно все усиливалось—сопровождалось более строгой и продолжительной тренировкой. Ничем не отвлекаясь, проводя много времени на охоте в горах, он держался на высоте положения. Его судьба складывалась счастливее судьбы его отца, и несчастные случаи не нарушали его карьеры. Кости его были целы, и он ни разу не повредил себе и сустава. И Стьюбенер с тайной радостью отметил про себя, что его юный боксер перестал говорить о возвращении в родные горы после победы над мировым чемпионом бокса—Джимом Хэнфордом.

ГЛАВА VI

Завершение его карьеры быстро приближалось. «Великий» Джим Хэнфорд публично заявил о своей готовности померяться силами с Глэндоном, как только последний справится с тремя-четырьмя кандидатами на звание мирового чемпиона, стоявшими между ними. За шесть месяцев Пэт убрал со своей дороги Кида Мак Гразса и Джэка Мак-Брайда из Филадельфии. Оставались лишь Нэт Поуэрс и Том Кэннем. И все сошло бы как нельзя лучше, если бы одна барышня из «хорошего общества» не вздумала заняться журналистикой, и

если бы Сэм Стьюбенер не согласился на интервью с репортером сан-францисской газеты «Курьер».

Она подписывала свои статьи: Мод Сэнгстер—своим настоящим именем. Семья Сэнгстеров славилась своим богатством. Ее родоначальник, старый Джэкоб Сэнгстер, собрал свои пожитки и работал батраком на фермах Запада. Ему удалось открыть неистощимые запасы буры в Неваде; вначале он вывозил ее на мулах, а впоследствии выстроил специальную железнодорожную ветку. Доходы от продажи буры он употребил на покупку сотен тысяч квадратных миль строевого леса в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Позже он занялся политикой, подкупал государственных людей и судей и стал одним из крупнейших промышленных магнатов.

Совершив все это, он умер, окруженный почестями и отравленный пессимизмом. Имя его осталось каким-то грязным пятном в истории, но кроме имени он оставил своим четырем сыновьям несколько сот миллионов, чтобы им было из-за чего ссориться. Последовавшие между сыновьями распри—судебные, промышленные и политические—забавляли и раздражали целое поколение калифорнцев и закончились смертельной ненавистью и полным разрывом всяких отношений между четырьмя братьями. Младший из них, Теодор, испытал в своей жизни нравственный перелом, продал свои фермы и скаковые конюшни и ринулся в борьбу с продажными заправилами штата, включая сюда и миллионеров. Это была нелепая и сумасбродная попытка искоренить порок, внедренный и взлелеянный старым Джекобом Сэнгстером.

Мод Сэнгстер была старшею дочерью Теодора. Род Сэнгстеров неизменно производил мужчин-борцов и женщин-красавиц. Мод не была исключением из правила. Она унаследовала и некоторую долю родового авантюризма и, ставши взрослой, натворила кучу дел, неподобающих молодой девушке ее круга. Завидная невеста—она не выходила замуж. Путешествовала по Европе и не привезла с собой знатного иностранца-жениха, и отвергла немало претендентов на свою руку из людей своего круга у себя на родине. Она занималась спортом, взяла звание чемпиона в теннис, и волновала и будоражила местные газеты своими эксцентрическими выходками; на пари она прошла пешком из Санта-Круц в Сан-Метео и вызвала сенсацию игрою в поло в мужском костюме, на состязании в Берлингэме. Между прочим, она интересовалась и живописью и устроила себе мастерскую в Латинском квартале Сан-Франциско.

Все это не играло большой роли до тех пор, пока ее отец не вздумал вмешиваться в ее жизнь. Страстно дорожа своей независимостью, она еще не встречала человека, которому бы могла радостно подчиниться; претенденты на ее руку были ей скучны и несносны,

и на вмешательство отца в ее личную жизнь она ответила тем, что завершила свои поступки против «общественного мнения» уходом из дома и работой в сан-францисском «Курьере». Вначале она получала по двадцати долларов в неделю, но скоро ее жалованье повысилось до пятидесяти. Она писала главным образом о музыке, о театре и о выставках, хотя и не отказывалась от чисто газетной работы, если она казалась ей достаточно интересной. Ей удалось получить большое интервью у Моргана [1]), в то время как дюжина светил журналистики безуспешно гонялись за ним; в костюме водолаза она спускалась на дно океана у Золотых Ворот и летела вместе с Рудом, человеком-птицей, в тот день, когда он побил все рекорды на продолжительность полета, достигнув Риверсайда.

Однако, не следует представлять себе Мод Сэнгстер суровой амазонкой. Наоборот, это была стройная молодая девушка с серыми глазами, лет двадцати трех-четырех, среднего роста и с поразительно маленькими руками и ногами; они были малы не только для женщины, занимающейся спортом, но для всякой иной. Затем, в противовес большинству спортсменок, она умела быть очаровательно-женственной.

Поручение интервьюировать Пэта Глэндона она получила по собственному желанию. Она ни разу в жизни не видела призового боксера, если не считать мимолетной встречи с Бобом Фицсиммонсом, бывшим во фраке в Палас-Грилль. Ей и не хотелось видеть боксеров,—по крайней мере до тех пор, как Юный Пэт Глэндон не приехал в Сан-Франциско тренироваться для предстоящего матча с Нэтом Поуэрсом. Затем его газетная репутация возбудила ее интерес. «Первобытный зверь!», на это стоит посмотреть! Из газетных статей о нем у нее составилось впечатление, что этот человек был чудовищем, тупым, мрачным и свирепым чудовищем— зверем из глухих дебрей. Правда, что по фотографиям нельзя было этого сказать, но на снимках видно было гигантское сложение, а оно вполне могло соответствовать нравственным и умственным качествам человека-чудовища. Итак, в сопровождении редакционного фотографа она в назначенный Стьюбенером час отправилась в зал для тренировки в Клифф-Хаузе.

Владелец недвижимостей был весьма озабочен. Пэт собирался взбунтоваться. Он сидел, свесив ногу поверх ручки кресла, и, положив Сонеты Шекспира, переплетом вверх, на колено, обрушился на новый тип женщин:

— Чего им понадобилось повсюду совать свой нос?—спрашивал он.—Бокс—это не их область. Что они могут знать о боксе? Мне

[1]) Американский миллиардер.

достаточно надоели репортеры-мужчины. На мне узоров нет. Эта женщина хочет хорошенько расписать меня. Я никогда не красовался перед женщинами в зале для тренировки, и мне все равно— репортер она или нет.

— Но она совсем непохожа на репортера обычного типа,—возразил Стьюбенер.—Слыхали вы о Сэнгстерах?—Это те—миллионеры!

Пэт утвердительно кивнул головой.

— Ну вот, она из этой семьи. Она из высшего круга. Она могла бы вращаться в обществе Блингэмов, если бы захотела, вместо того чтобы работать на жалованьи в газете. Ее отец «стоит» пятьдесят миллионов, если за него вообще можно дать хоть один цент.

— Тогда чего же она работает в газете?—только отбивает хлеб у какого-нибудь бедняка.

— Она разошлась со своими, поссорилась или что-то в этом роде, как раз в то время, как он принялся за «чистку» Сан-Франциско. Она ушла из дому. Вот и все—ушла и поступила на службу. Выслушайте еще одну вещь, Пэт: она прекрасно пишет. Когда она принимается за дело, с ней ни один писака у нас не сравняется.

Пэт начал проявлять некоторый интерес, и Стьюбенер пошел на всех парах.

— Она пишет стихи, да, разводит всякую там поэзию, в роде вас. Но я думаю, что ее стихи лучше, потому что она издала их— целую книжку. Она пишет о театре. Она интервьюирует всех крупных актеров, какие только попадают в Сан-Франциско.

— Я встречал ее имя в газетах,—заметил Пэт.

— Конечно, встречали. Это большая честь для вас, Пэт, что она придет к вам за интервью. Вам с ней не будет скучно. Я буду с вами и сам преподнесу ей все нужные сведения. Вы же знаете, это постоянная моя роль.

Пэт с благодарностью взглянул на него.

— И еще, Пэт: не забывайте, что вам приходится примириться со всеми этими интервью. Это входит в круг ваших профессиональных обязанностей. Это громкая реклама, и она достается вам совершенно даром. Вы не можете купить прессу. Пресса заинтересовывает публику, собирает толпы зрителей, а толпа-то и создает наши сборы.—Стьюбенер остановился и прислушался, затем поглядел на часы.—Я думаю, что это она. Я пойду ей навстречу и приведу ее сюда. Я намекну ей, чтобы она не затягивала интервью, вы увидите, это будет недолго.—В дверях он еще раз обернулся.—Ведите себя прилично, Пэт. Не замыкайтесь в свою раковину. Поговорите с ней немного, когда она будет вас расспрашивать.

Пэт отложил Сонеты на стол, взял газету и казался глубоко погруженным в чтение, когда она и Сэм вошли в комнату. Пэт

встал. Их встреча была неожиданностью для обоих. Когда синие глаза встретились с серыми, то казалось, что мужчина и женщина испустили торжествующий клич, словно каждый из них нашел свое желанное и нежданное в жизни. Но это длилось одно только мгновение. Оба они ожидали встретить друг в друге нечто столь отличное от того, что они увидели, что в следующее же мгновение чувство полного признания уступило место смущению. Как и все женщины, она первая овладела собой, при чем не подала и виду, что мгновение назад потеряла над собой власть. Она прошла большую часть комнаты навстречу Глэндону. Что касается его, то он едва ли понимал, что говорил, пока их представляли друг другу. Наконец он видел перед собой женщину—ж е н щ и н у! Он и не подозревал, что они на свете существуют. Немногие женщины, каких он до сих пор замечал, совсем на эту не походили. Он подумал о том, что бы про нее сказал старый Пэт, и не о такой ли, как она, он говорил, советуя держать ее крепко, обеими руками. Он сообразил, что держит в своей руке ее руку, и поглядел на нее с любопытством и восхищением, поражаясь ее хрупкостью.

Она, со своей стороны, старалась побороть в себе отзвуки первого, инстинктивного призыва. Внезапное ее влечение к этому чужому человеку было лишь странным, никогда еще не испытанным впечатлением—вот и все.

Разве не он был «Первобытным Зверем» арены—громадным тупым самцом, боровшимся с другими самцами такого же скотского интеллектуального уровня? Она улыбнулась движению, каким он продолжал держать ее руку.

— Пожалуйста, отдайте мне мою руку, мистер Глэндон,—сказала она.—Право же... право же, она мне нужна.

Он смущенно взглянул на нее и, проследив за направлением ее взгляда, увидал ее порабощенную руку и так неловко отпустил ее, что кровь бросилась ему в лицо.

Она заметила, что он покраснел, и ей пришло в голову,—он непохож на тот образ, какой она рисовала себе. Она не представляла себе, чтобы зверь мог по какому-либо поводу краснеть. Ей очень понравилось, что он не сумел пробормотать развязного извинения. Но ее очень смущала его манера пожирать ее глазами. Он уставился на нее, словно на него нашел столбняк, а его щеки пылали все сильнее.

Тем временем Стъюбенер подал ей стул, а Глэндон автоматически опустился на свой.

— Он в прекрасной форме, мисс Сэнгстер, в прекрасной форме,—говорил импрессарио.—Не правда ли, Пэт? Вы никогда еще не чувствовали себя лучше?

Глэндону это было противно. Его брови смущенно сдвинулись, и он ничего не отвечал.

— Я давно уже хотела с вами познакомиться, мистер Глэндон,— сказала мисс Сэнгстер.—Я никогда еще не интервьюировала боксера, поэтому вы извините меня,—не правда ли?—если я неумело возьмусь за это.

— Быть может, вы хотели бы посмотреть сначала на него в деле?—предложил импрессарио.—Пока он будет переодеваться, я могу порассказать вам множество вещей о нем—все сведения, еще не помещенные в газетах. Мы позовем Уолша, Пэт, и покажем мисс несколько раундов.

— Нет, мы и не подумаем это делать,—зарычал Глэндон так грозно, как стал бы рычать первобытный зверь.—Продолжайте интервью.

Но интервью не налаживалось. Разговор вел и поддерживал один Стьюбенер, и этого было достаточно, чтобы раздражать Мод. Пэт молчал. Она изучала его тонкое лицо, широко расставленные ясные синие глаза, хорошо сформированный, почти орлиный нос, твердые целомудренные губы, со своеобразно мягким выражением в углах рта—в этом лице не было и намека на угрюмость. «Если все, что о нем пишут в газетах, правда, то его наружность очень обманчива», решила она про себя. Тщетно искала она признака «клейма» зверя и так же тщетно старалась вовлечь его в разговор. Она слишком мало знала о призовых боксерах и об арене, и стоило ей затронуть какой-нибудь интересовавший ее вопрос, как Стьюбенер перебивал ее потоком непрерывно струящихся сведений.

— Жизнь боксера—это очень интересно,—сказала она как-то, и со вздохом прибавила:—Я хотела бы узнать ее поближе. Скажите, зачем вы, собственно, состязаетесь? О, вопрос о деньгах я оставляю в стороне (последнее относилось к Стьюбенеру). Вам это доставляет удовольствие? Возбуждает ли вас это соревнование с другими людьми? Мне трудно выразить мою мысль, вы должны мне помочь в этом.

Пэт и Стьюбенер заговорили одновременно.

— Вначале меня бокс не интересовал.

— Видите ли, это было для него слишком пустяковым делом,— прервал его Стьюбенер.

— Но потом,—продолжал Пэт,—когда пришлось состязаться с хорошими бойцами, настоящими и крупными боксерами, дело показалось мне более...

— Достойным вас?—подсказала она.

— Да; вы верно поняли,—более достойным меня. Я увидел, что дорожу своей победой... да, действительно, дорожу. Но все же бокс

поглощает меня целиком. Видите ли, каждый матч является проблемой, которую я должен разрешить моим мозгом и мускулами, хотя до сих пор я еще ни разу не сомневался в исходе состязания.

— Исход его матчей никогда не приходилось отдавать на решение рефери,—заявил Стьюбенер.—Он своим «нокаутом» решал всегда сам вопрос о победе.

— Именно эта уверенность в исходе состязания и лишает меня всех ощущений, что составляет главную привлекательность бокса,—закончил Пэт.

— Может, вам придется испытать эти ощущения в борьбе с Джимом Хэнфордом,—сказал импрессарио.

Пэт улыбнулся, но ничего не сказал.

— Расскажите мне еще что-нибудь,—настаивала она,—расскажите о ваших ощущениях во время бокса.

И тут Пэт удивил своего импрессарио, мисс Сэнгстер и себя самого, выпалив одним духом:

— Мне кажется, что не стоит говорить о таких вещах. У меня такое чувство, словно существует множество более важных и интересных вопросов, о каких нам следовало бы поговорить. Я...

Он внезапно остановился, соображая, что он, собственно, сказал, но не сознавал, почему он все это говорил.

— Да, конечно,—с жаром подхватила она.—Вы правы. Только тогда и получается интересное интервью—вы видите подлинное лицо человека.

Но Пэт больше не раскрывал рта, а Стьюбенер занялся статистикой—он сравнивал вес, размеры и объем своего чемпиона с весом, размерами и объемами Сэндоу, Грозного Турка, Джеффри и других современных силачей. Это очень мало занимало Мод Сэнгстер, и она не скрывала своей скуки и нетерпения. Случайно ее глаза остановились на Сонетах Шекспира. Она схватила книгу и вопросительно поглядела на Стьюбенера.

— Это книга Пэта,—сказал он.—Он помешан на стихах, цветной фотографии, картинных галлереях и прочих вещах. Только, сохрани боже, не пишите об этом в газетах ничего. Вы этим погубите всю его репутацию.

Она укоризненно посмотрела на Глэндона, и тот сразу смутился. Она была в восторге. Робкий юноша, ростом—гигант, один из королей бокса—читает стихи, ходит по музеям и занимается цветной фотографией! О первобытном звере тут не могло быть и речи. Она догадалась теперь, что его застенчивость вызывалась чувствительностью и чуткостью его души, а не глупостью. Сонеты Шекспира! Теперь их разговор пойдет по настоящему пути! Но Стьюбенер не дал ей воспользоваться случаем и снова занялся статистикой.

Спустя несколько минут она невольно сделала самый крупный ход. После открытия Сонетов первоначальное острое влечение к нему снова в ней заговорило. Его великолепный стан, прекрасное лицо, целомудренные губы, ясные глаза и высокий лоб, не скрытый коротко-остриженными белокурыми волосами, здоровье и чистота, излучаемые всем его существом—все это сознательно—и еще более бессознательно—притягивало ее к нему, как никогда ни один мужчина ее к себе не притягивал. Между тем она не могла забыть тех грязных слухов, что ей пришлось услышать лишь накануне в редакции газеты.

— Вы были правы,—сказала она.—У нас есть более интересные темы для разговора. У меня кое-что на душе, и вы могли бы помочь мне в этом разобраться. Хотите?

Пэт кивнул головой.

— Если я буду откровенна?—безобразно откровенна? Я иногда слыхала разговоры об особых матчах, о пари и о ставках, я не обращала в то время особого внимания на эти разговоры, но мне казалось, что все считают установленным тот факт, что с боксом связано много всяких жульнических и мошеннических проделок. Глядя на вас, например, мне трудно понять, как вы можете принимать в них участие. Я могу понять, что вы можете увлекаться боксом, как спортом, или можете бороться ради денег, но я не могу взять в толк....

— Тут не приходится ломать себе голову,—прервал ее Стьюбенер, меж тем как губы Пэта сложились в мягкую, снисходительную улыбку.—Это все одни россказни, все эти бредни о подстроенных боях, о заранее известных исходах и прочем. Это все неправда, мисс Сэнгстер, уверяю вас. А теперь разрешите мне рассказать вам, как я открыл Пэта Глэндона. Я получил как-то письмо от его отца...

Но Мод Сэнгстер не дала отвлечь себя в сторону и сама обратилась к Пэту.

— Послушайте. Я запомнила один случай. Это было несколько месяцев тому назад,—я забыла уже участников этого состязания. Один из редакторов «Курьера» сказал мне, что намеревается выиграть крупный куш. Он не сказал—надеется, нет! он намеревался! Он говорил, что знаком с закулисной стороной дела и бился об заклад относительно числа раундов состязания. Он сказал мне, что борьба кончится на двенадцатом раунде. Этот разговор происходил вечером, накануне борьбы. И на следующий день он торжествующе обратил мое внимание на то, что борьба действительно была закончена на двенадцатом раунде. Мне это было безразлично, я тогда еще не интересовалась боксом. Но теперь я им интересуюсь. В те времена этот факт вполне соответствовал тому смутному представлению,

какое я себе составила о боксе. Итак, вы видите, что это не одни только россказни, не правда ли?

— Я помню этот матч,—сказал Глэндон.—Это были Оуэн и Мэргуэзер. И он окончился на двенадцатом раунде, Сэм. И она говорит, что этот раунд был известен накануне. Как вы это объясните, Сэм?

— Как вы объясните удачу человека, получившего выигравший билет в лотерее?—уклонился импрессарио, собирая мысленно материал для ответа.—В этом все и дело. Люди, изучающие условия и правила бокса, часто могут определить заранее число раундов, как люди, интересующиеся скачками, без риска ставят сто против одного. И не забывайте одно: на каждого выигравшего приходится один проигравший, не угадавший точного числа раундов. Мисс Сэнгстер, уверяю вас своей честью, что в настоящее время предрешенных боев... не существует.

— Ваше мнение об этом, мистер Глэндон?—спросила она.

— Он вполне согласен со мной,—перехватил Стьюбенер ответ Пэта.—Он знает, что все мои слова—чистая правда. Он всю свою жизнь боролся честно и правильно. Разве это не так, Пэт?

— Да, это правда,—подтвердил Пэт, и—странно—Мод Сэнгстер была уверена в том, что он не лжет.

Она провела рукою по лбу, словно желая прогнать омрачавшие ее голову недоумения.

— Послушайте,—сказала она.—Вчера вечером тот же редактор сказал мне, что ему известно, на каком раунде кончится ваш следующий матч.

Стьюбенер был близок к отчаянию, но слова Глэндона избавили его от ответа.

— Значит, редактор лжет!—Пэт в первый раз возвысил голос.

— Однако, он не солгал в тот раз, по поводу того матча,—приняла она его вызов.

— На каком раунде, по его словам, закончится мое состязание с Нэтом Поуэрсом?

Она еще не успела ответить, как импрессарио вмешался в разговор.

— Какой вздор, Пэт!—вскричал он.—Довольно. Это лишь обычные слухи по поводу всех состязаний. Давайте лучше продолжать наше интервью.

Но Глэндон его не слушал. Его глаза не отрывались от нее и из ласково-синих стали суровыми и повелительными. Она была уверена, что натолкнулась на что-то чрезвычайно важное и страшное, на что-то, что может сразу разъяснить все ее недоумения. В то же время повелительность его голоса и взгляда заставили ее затрепетать.

Перед ней был настоящий мужчина, который сумеет подчинить себе жизнь и взять от нее то, что ему понадобится.

— Какой раунд назвал редактор?—повторил свой вопрос Глэндон.

— Ради всего святого, Пэт, довольно с этой ерундой,—вмешался Стьюбенер.

— Я бы хотела иметь возможность ответить вам,—сказала Мод Сэнгстер.

— Я полагаю, что могу сам разговаривать с мисс Сэнгстер,—прибавил Глэндон.—Выйдите отсюда, Сэм. Ступайте и займитесь фотографом.

Они посмотрели друг на друга в течение нескольких мгновений—молчаливых и напряженных, затем импрессарио медленно двинулся к двери, открыл ее и, прислушиваясь к разговору, повернул голову.

— Итак, какой он назвал раунд?

— Надеюсь, что я не ошибусь,—дрожащим голосом сказала она,—но я уверена, что он назвал шестнадцатый раунд.

Она увидела, как на лице Глэндона отразилось удивление и гнев, и перехватила взгляд, полный укоризны, брошенный им Стьюбенеру. Тогда она поняла, что ее удар попал в цель.

Глэндон имел все основания рассердиться. Он помнил, что обсуждая этот матч со Стьюбенером, они порешили дать публике основательное зрелище за ее деньги, не затягивая слишком борьбы, и покончить матч на шестнадцатом раунде. И вот из редакции газеты является женщина и называет ему именно этот раунд.

Стьюбенер, в дверях, как-то поник и побледнел и, очевидно, с трудом сдерживался.

— Я поговорю с вами позже,—обратился к нему Пэт.—А пока заприте за собой дверь.

Дверь закрылась, и они остались одни. Глэндон молчал. На его лице были ясно написаны замешательство и недоумение.

— Ну, что ж?—спросила она.

Он встал, затем снова сел и провел языком по губам.

— Я могу сказать только одно,—сказал он наконец.—Матч не окончится на шестнадцатом раунде.

Она молчала, но ее недоверчивая и насмешливая улыбка оскорбляла его.

— Подождите, мисс Сэнгстер, и вы увидите, что ваш редактор ошибался.

— Вы хотите сказать, что программа меняется?—вызывающе спросила она.

Резкость ее слов заставила его вздрогнуть.

— Я не привык лгать,—сухо сказал он,—даже женщинам.

— Вы мне и не солгали, но вы же не отрицаете, что программа будет изменена. Может быть, я глупа, мистер Глэндон, но я не вижу разницы между числом раундов в том случае, когда оно заранее предрешено и всем известно.

— Я назову этот раунд вам, и ни одна живая душа на свете, кроме вас, не будет его знать.

Она пожала плечами и улыбнулась.

— Это звучит, как сделка на бегах. Их всегда устраивают таким образом, вы же знаете, но я все-таки не совсем глупа и понимаю, что тут что-то не так. Отчего вы рассердились, когда я назвала вам финальный раунд? Отчего вы рассердились на вашего импрессарио? Зачем вы выслали его из комнаты?

Вместо ответа Глэндон отошел к окну, как бы затем, чтобы выглянуть на улицу, но, переменив свое намерение, повернулся в ее сторону. Она, не глядя, знала, что он изучает ее лицо. Затем он вернулся и сел.

— Вы сказали, что я не солгал вам, мисс Сэнгстер, и вы были правы. Я вам не лгал.—Он остановился, с трудом подыскивая слова для выяснения положения.—Думаете ли вы, что можете поверить тому, что я вам скажу? Поверите ли вы слову... призового боксера?

Она серьезно кивнула головой, глядя ему прямо в глаза, уверенная, что все, что он ей скажет,—чистая правда.

— Я всегда боролся правильно и честно. Я не трогал в своей жизни грязных денег и не проделывал никаких грязных штук. Из этого я и буду исходить теперь. Вы меня здорово потрясли своим сообщением. Я не знаю, что мне теперь делать. Я не могу так, с плеча разрешить свои сомнения. Я ничего не знаю. Но со стороны— это гадкая история. Это-то меня и смущает. Видите ли, мы со Стьюбенером обсуждали этот матч и порешили, что я закончу его на шестнадцатом раунде. И вот являетесь вы и называете этот раунд. Откуда ваш редактор мог это знать? Не от меня. Очевидно, Стьюбенер проболтался... или...—Он задумался над этой загадкой.—Или ваш редактор счастливо отгадывает. Я не могу разрешить эту загадку. Мне придется открыть широко глаза и ждать, пока я не пойму в чем тут дело. Все, что я вам сказал,—правда, и вот вам в подтверждение моя рука.

Он снова поднялся со своего места и подошел к ней. Она встала ему навстречу, и он схватил своей большой рукой ее крошечную ручку. Взглянув друг другу прямо в глаза, оба они невольно поглядели на сплетенные руки. Она почувствовала, что никогда еще так ясно не ощущала своей женственности. Выразительность этих рук—ее—нежной и хрупкой—и его—крупной и сильной—была поразительна. Глэндон заговорил первый.

— Вам так легко причинить боль,—сказал он, и она почувствовала, как, словно ласка, ослабело его пожатие.

Она вспомнила любовь старого прусского короля к великанам и, отнимая руку, засмеялась несообразности своих ассоциаций.

— Я очень рад, что вы сегодня здесь были,—сказал он, затем неловко заторопился дать своим словам объяснения, но восхищение, светившееся в его глазах, опровергало все объяснения.—Я хочу сказать, что вы, может быть, открыли мне глаза на все безобразия, что здесь творятся.

— Вы поразили меня,—настаивала она.—Мне казалось, само собой разумеется, что призовой бокс сопровождается обманом, и теперь я не могу понять, как это вы—один из главных представителей его—ничего об этом не знаете. Я была уверена в том, что вам все это прекрасно известно, а теперь вы меня убедили, что и не подозревали о такой возможности. Вы, очевидно, не похожи на остальных боксеров.

Он утвердительно кивнул головой.

— Этим, я думаю, все и объясняется. Вот что происходит, когда держишься в стороне от общества других боксеров, тренеров и любителей бокса. Нетрудно было держать повязку у меня на глазах. Теперь осталось убедиться в том, действительно ли мои глаза были завязаны или нет. Видите ли, я должен узнать это ради себя самого.

— И изменить это?—спросила она задыхаясь, уверенная в том, что он выполнит всякую задачу, какую только себе поставит.

— Нет, уйти,—прозвучал ответ.—Если игра неправильна,—я ничего больше не хочу иметь с ней общего. Но одна вещь остается: завтрашняя схватка с Нэтом Поуэрсом не окончится на шестнадцатом раунде. Если сделка вашего редактора реальна, то они все останутся в дураках. Вместо того, чтобы выбить его на шестнадцатом раунде, я доведу матч до двадцатого. Подождите—вы все узнаете.

— Редактору ничего не говорить?

Она уже стояла, собираясь уходить.

— Конечно, нет. Если это одни его предположения,—пусть он испытывает судьбу. Но если тут замешана какая-нибудь сделка, то он заслуживает потерю своей ставки. Это будет маленькой тайной между вами и мной. Я скажу вам, что я сделаю. Я назову этот раунд вам. Не стоит доводить матч до двадцатого раунда. Я выбью Нэта Поуэрса на восемнадцатом.

— Я никому и словечка не пророню,—уверила она его.

— Мне хочется попросить вас об одном одолжении,—просительно сказал он.—Возможно, что это очень большое одолжение.

Ее лицо выразило согласие, и он, поняв это, продолжал:

— Я знаю, что вы не будете писать обо всех этих сделках в вашем интервью. Но я бы хотел большего. Мне хотелось бы, чтобы вы вообще не печатали этого интервью.

Она быстро посмотрела на него своими проницательными серыми глазами и затем сама поразилась своим ответом:

— Разумеется, я этого не напечатаю. Я ни одной строчки не напишу.

— Я так и знал,—просто сказал он.

В первую минуту она была разочарована его ответом, но в следующую—она была рада, что он не благодарил ее. Она почувствовала, что он подводит иной фундамент под их часовую беседу, и смело спросила:

— Как вы могли это знать?

— Не знаю.—Он покачал головой.—Я не сумею объяснить. Я был убежден в этом. Мне кажется, что я узнал очень много о вас и о себе.

— Но отчего бы мне не напечатать интервью? По словам вашего импрессарио, это хорошая реклама.

— Я знаю,—медленно заговорил он.—Но я бы не хотел познакомиться с вами на этой почве. Я думаю, что печатание интервью было бы оскорбительно для нас обоих. Мне не хочется думать о том, что нас свела вместе наша профессиональная работа. Я бы хотел вспоминать о нашей беседе, как о беседе между мужчиной и женщиной. Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу этим сказать. Но я именно так ощущаю это. Я хочу, чтобы мы помнили об этой встрече как мужчина и женщина.

Пока он говорил, в его глазах было выражение, с каким мужчина смотрит на женщину. Она чувствовала его силу, и ею овладела странная неловкость; она не могла выговорить ни слова—и это перед человеком, известным своей застенчивостью и молчаливостью! Очевидно, он умел подходить к самому существу дела и мог говорить убедительнее, чем большинство людей,—это всего сильнее поразило ее,—она глубоко была убеждена в том, что его простодушная откровенность не надумана, а идет из души.

Он проводил ее до автомобиля, и, прощаясь с ним, она снова вся затрепетала. Их руки соединились, и он сказал:

— Когда-нибудь я вас увижу снова. Я очень хочу вас видеть. Я чувствую, что последнее слово между нами еще не сказано.

Когда машина отъехала, она призналась себе в том же чувстве. Она не знала еще всей сущности этого первобытного зверя, короля боксеров,—волнующего ее человека, Пэта Глэндона.

Вернувшись в тренировочное помещение, Глэндон встретил смущенного и встревоженного импрессарио.

— Чего ради вы меня выставили?—спросил он.—Мы пропали. Вы чорт знает какую кашу заварили! Вы еще ни разу не говорили с интервьюерами с глазу на глаз—вы увидите, что за интервью появится в газете!

Глэндон разглядывал его с холодной усмешкой и собирался повернуться и пройти мимо, но затем раздумал.

— Интервью нигде не появится,—сказал он.

Стьюбенер удивленно посмотрел на него.

— Я просил ее об этом,—пояснил Глэндон.

Стьюбенера взорвало.

— Станет она упускать такую сенсацию!

От Глэндона повеяло холодом, и голос его прозвучал грубо и резко:

— Интервью не будет напечатано. Это ее слова. Сомневаться в ее словах, значит обвинять ее во лжи.

Его глаза загорелись ирландским огнем, а кулаки сжались в бессознательном порыве. Стьюбенер, зная их мощь и силу стоявшего перед ним человека, больше не посмел сомневаться.

ГЛАВА VII

Стьюбенеру не понадобилось много времени, чтобы догадаться, что Глэндон намерен продлить матч, но, несмотря на все попытки, ему не удалось получить и намека на предполагаемое число раундов. Как бы там ни было, он не стал терять времени и вошел в новое соглашение с Нэтом Поуэрсом и его импрессарио. За Поуэрсом стояла верная ему партия, и нельзя было лишать добычи ставящий на него синдикат.

В вечер матча Мод Сэнгстер оказалась виновной в самом дерзком нарушении правил приличия в своей жизни, но ее поступок никогда не обнаружился, и никто посторонний о нем не узнал. Под покровительством редактора, она заняла место на одной из близких к арене скамеек. Мужская шляпа с широкими опущенными полями скрывала ее волосы и лицо, а длинное мужское пальто закрывало ее до пят. В гуще толпы ее никто не замечал; даже репортеры, сидевшие на местах, отведенных печати, не узнали ее, хотя и сидели как раз напротив ее места.

Предварительные состязания второстепенных боксеров обычно отменялись, и едва она успела занять свое место, как толпа криками и аплодисментами приветствовала появление Нэта Поуэрса. Окруженный секундантами, он шел по боковому проходу; увидя его громоздкую фигуру, она испугалась. Он перескочил через веревки, словно был вдвое легче, чем на самом деле, и улыбнулся на шумные

приветствия всего зала. Он не был красив. Его обезображенные уши указывали на его профессию и связанные с нею жестокость и грубость, а его сломанный нос столько раз бывал расплющен, что искусство хирургов не могло больше восстановить его первоначальную форму. Новые приветственные крики возвестили приход Глэндона, и она жадно смотрела на него, пока он перелезал через веревки и шел в свой угол. Но не раньше чем закончилась скучная церемония заявлений, представлений и вызова, оба противника сбросили свои халаты и остались в костюмах бокса. Сверху на них лился яркий белый свет электрических ламп—это требовалось для кинематографических съемок; глядя на этих противников, столь отличных друг от друга, Мод почувствовала, что Глэндон был продуктом высокой культуры, а первобытным зверем—Поуэрс. Оба были характерны: Глэндон—изящными очертаниями лица и всего тела, своей мягкостью и массивностью форм, а Поуэрс—грубой асимметричностью тела, густо обросшего волосами.

Когда они, став друг против друга, стали для съемки «в стойку», взгляд Глэндона, скользя вдоль веревок барьера, случайно остановился на Мод. Хотя он не подал и виду, она, по биению своего сердца, поняла, что он ее узнал. В следующую минуту прозвучал гонг, и распорядитель закричал: «Начинайте!»—Матч начался.

Это был красивый бой. Не было ни крови, ни ударов—оба были умелыми бойцами. Половина первого раунда прошла во взаимном нащупывании, но Мод волновали и эти ложные выпады и удары перчаткой. Более серьезные схватки дальнейших стадий бокса волновали ее настолько, что редактору приходилось одергивать ее за руку, чтобы напомнить ей, где она находится.

Поуэрс боролся легко и правильно, как и полагалось герою полусотни состязаний, и восхищенные сторонники аплодировали каждому умелому выпаду. Все же он не расходовал зря своих сил и лишь иногда делал смелые выпады,—тогда публика с ревом вскакивала с мест, ошибочно воображая, что он побеждает противника.

В такой-то момент, когда ее неопытный глаз не заметил серьезной опасности, какой только что избежал Глэндон, редактор наклонился к ней со словами:

— Юный Пэт все равно победит. Он счастливчик—и никому не удается победить его. Но он побьет Поуэрса не раньше, чем на шестнадцатом раунде.

— А может, и позже?—спросила Мод.

Она чуть не рассмеялась уверенности своего спутника. Она-то знала лучше их всех число раундов.

Поуэрс, по своему обыкновению, вел непрерывное наступление, и Глэндон охотно принимал такой метод борьбы. Он прекрасно

защищался и нападал лишь, чтобы поддерживать интерес зрителей. Хотя Поуэрс и знал, что ему, по уговору, полагается быть побежденным, он слишком давно работал на этом поприще, чтобы не нокаутировать противника, если бы ему представилась эта возможность. Ему приходилось испытать на себе «дубль-кросс», чтобы не применять его с серьезным противником. В случае удачи, он готов был итти на все, чтобы нокаутировать противника, хотя бы весь синдикат повесился с досады. Благодаря умелой газетной рекламе, публика считала, что Юный Глэндон встретил, наконец, более сильного противника. В глубине души Поуэрс все же сознавал, что на этот раз именно он встретил достойного себя соперника. В обхватах он неоднократно ощущал силу его ударов и знал, что противник намеренно сдерживает себя и не дает настоящих полновесных «пэнчей».

Что касается Глэндона, то не раз в течение этого состязания малейший промах или ошибка в расчете могли подставить его под один из тяжелых, как молот, ударов противника—и тогда матч был бы проигран. Но он обладал почти чудесной способностью определять время и расстояние, и его вера в себя не была поколеблена ни одним из предшествующих матчей. Он ни разу еще не был побежден и всегда настолько чувствовал себя хозяином положения, что ему и в голову не приходила мысль о возможности поражения.

К концу пятнадцатого раунда оба боксера прекрасно себя чувствовали, хотя Поуэрс и дышал немного тяжелее обычного, и некоторые из сидящих поблизости зрителей держали пари, что он «выдохнется».

За минуту до того, как должен был прозвучать гонг для шестнадцатого раунда, Стьюбенер, наклонившись к сидевшему в своем углу Глэндону, шепнул:

— Вы его побьете на этом раунде?

Глэндон, откинув назад голову, покачал ею и насмешливо расхохотался прямо в лицо взволнованного импрессарио.

С ударом гонга, Глэндон, к своему удивлению, увидел, что Нэт Поуэрс словно сорвался с цепи. С первой же секундой это был какой-то вихрь ударов, и Глэндону не легко было избежать серьезных повреждений. Он увертывался, отступал в сторону, но едва ему удавалось дойти до середины арены, как противник новыми выпадами загонял его обратно к веревкам. Несколько раз Поуэрс давал ему полную возможность нанести решительный удар, но Глэндон отказывался нанести молниеносный «нокаут» и вывести противника из строя.

Он приберегал его для восемнадцатого раунда. Он за весь матч ни разу не вкладывал в удары всей мощи.

Две минуты Поуэрс яростно, без передышки бросался на него. Еще минута—и раунд окончен, а ставящий на боксеров синдикат посрамлен. Но этой минуте не было суждено пройти благополучно. Противники сошлись в центре арены в обхвате, и все шло совершенно нормально, если не считать того, что Поуэрс бесновался вовсю. Глэндон вытянул его левой рукой эффектным, но не сильным ударом по лицу. Таких ударов он надавал не мало в течение этого матча. Но, к своему великому изумлению, он почувствовал, как Поуэрс сразу ослабел и осел на пол, словно его подгибающиеся ноги отказывались поддерживать его громоздкое тело. Он тяжело рухнул на пол, перекатился на бок и замер с закрытыми глазами. Арбитр, наклоняясь к нему, выкрикивал секунды.

При слове «девять!» Поуэрс встрепенулся, как бы тщетно пытаясь подняться на ноги.

— Десять!—и «аут»!—крикнул арбитр.

Он схватил руку Глэндона и поднял ее высоко вверх, давая ревущей публике знак, что Глэндон победил.

В первый раз за свою карьеру боксера Глэндон был потрясен. Этот удар не был «нокаутом». Он мог в этом поручиться своей жизнью. Удар пришелся не по челюсти, а по лицу, и он это совершенно определенно знал. И вот противник его выбит, счет закончен, и сцена ложного поражения блестяще проведена. Заключительное падение на пол было верхом мастерства. Для зрителей это был несомненный «нокаут», а кинематограф запечатлел все это жульничество.

Редактор не ошибся, называя финальный раунд и весь матч сплошным обманом.

Глэндон, через веревки, кинул быстрый взгляд на лицо Мод Сэнгстер. Она глядела прямо на него, но ее глаза были холодны и враждебны,—они, казалось, его не узнавали и глядели на него без всякого выражения.

Пока он смотрел на нее, она равнодушно отвернулась и сказала что-то своему соседу.

Секунданты Поуэрса уносили его в угол,—он лежал на руках какой-то расслабленной массой. А секунданты Глэндона подходили к Пэту поздравлять и снять с его рук перчатки. Но Стьюбенер опередил их. Его лицо сияло, и, схватив правую перчатку Глэндона обеими руками, он вскричал:

— Молодец, Пэт! Я знал, что вы это сделаете!

Глэндон выдернул свою руку из его рук, и, в первый раз за все проведенные вместе годы, импрессарио услышал от него брань.

— Убирайтесь к чорту!—крикнул он, поворачиваясь к секундантам, и, протянув им руки, подождал, чтобы они сняли перчатки.

ГЛАВА VIII

Вечером Мод Сэнгстер, выслушав решительное утверждение редактора, что честных боксеров не существует, поплакала с минуту, сидя па краю кровати, затем рассердилась и легла спать с ненавистью и отвращением к себе, призовым боксерам и всему миру в целом.

На следующий день она принялась за литературную обработку своего интервью с Генри Эдиссоном, которое так и осталось незаконченным. Это происходило в предоставленной в ее распоряжение отдельной комнате в редакции «Курьера». Она только что перестала писать и взглянула на заголовок газеты, объявлявшей о предстоящем матче Глэндона с Томом Кэннемом, как в комнату вошел один из мальчиков-курьеров и подал ей карточку. Карточка была Глэндона.

— Скажите ему, что я занята,—сказала она мальчику.

Через минуту мальчик вернулся.

— Он говорит, что он все равно войдет, но ему хотелось бы получить ваше разрешение.

— Вы говорили ему, что я занята?—спросила она.

— Да, мэм, но он сказал, что он все равно войдет.

Она молчала, и мальчик, с глазами, сияющими восторгом перед назойливостью посетителя, продолжал:

— Я знаю его. Он здорово сильный парень. Если бы он захотел, то мог бы разнести всю редакцию. Он—Юный Глэндон, что выиграл вчера матч.

— Ну что ж, хорошо, пустите его. Мы не хотим, чтобы нам разносили нашу редакцию.

Когда Глэндон вошел, никаких взаимных приветствий не последовало. Она была холодна и враждебна, как ненастный день, не предложила ему сесть и, казалось, не узнавала его. Полуотвернувшись, сидела она за столом, выжидая, чтобы он изложил причину своего появления. Он не подал и виду, насколько ее надменное обращение оскорбляло его, и сразу приступил к делу.

— Мне необходимо поговорить с вами,—коротко сказал он.—Вчерашний матч. Он окончился на назначенном раунде.

Она пожала плечами.

— Я знала, что это так будет!

— Нет, вы не знали,—возразил он.—Вы не знали. Я тоже не знал.

Она повернулась к нему и поглядела на него с подчеркнутым выражением скуки.

— Стоит ли об этом разговаривать?—спросила она.—Призовой бокс—это призовой бокс, и нам всем известно, что это такое. Матч закончился на том раунде, что я вам называла.

— Да, это правда,—согласился он.—Но вы этого не знали. На всем свете только вы да я знали, что Поуэрс не получит «нокаута» на шестнадцатом раунде.

Она продолжала молчать.

— Говорю вам, что вы это знали.—Его голос звучал повелительно, и, видя, что она все еще отказывается говорить, он подошел к ней ближе.—Отвечайте мне,—приказал он.

Она кивнула головой.

— Но он получил его,—настаивала она.

— Нет. Он никакого «нокаута» не получал. Вы понимаете? Я вам расскажу в чем тут дело, а вы меня выслушаете. Я вам не лгал. Вы поняли меня? Я вам не лгал. Я был дураком, и они провели меня и вас вместе со мной. Вам кажется, что вы видели, как он получил «нокаут». Но мой удар не был достаточно тяжел для «нокаута». Он даже не пришелся по настоящему месту для решительного удара. Поуэрс притворился, будто получил его. Он разыграл фальшивый «нокаут».

Он остановился и выжидающе посмотрел на нее. По биению сердца и охватившему ее трепету она поняла, что верит ему. Горячая волна счастья хлынула на нее, когда вернулась вера в этого чужого человека, которого она видела до того всего лишь два раза.

— Ну, что ж?—спросил он, и снова она затрепетала от исходящей от него силы.

Она встала и протянула ему руку.

— Я верю вам,—сказала она.—Я рада, очень рада.

Пожатие руки длилось дольше, чем она ожидала. Он глядел на нее горящими глазами, и ее глаза невольно загорелись в ответ. «Никогда еще не было такого человека», мелькнуло в ее голове. Она первая опустила глаза; его глаза следовали за ее взором, и вновь, как и в первую встречу, оба смотрели на сомкнутые руки. Он всем телом невольно двинулся к ней, как бы желая притянуть ее к себе, затем с видимым усилием овладел собой. Она поняла это и почувствовала, как дрогнула его рука, притягивая ее к себе. К своему удивлению, она чувствовала желание подчиниться ему,— всепоглощающее желание быть заключенной в сильные объятия этих рук. Если бы он настоял, она знала, что не стала бы сопротивляться. Ее голова кружилась, но он овладел собой и, сжав ее пальцы так, что чуть не раздавил их, опустил ее руку—почти оттолкнул ее от себя.

— Боже!—вздохнул он.—Вы созданы для меня.

Он отвернулся в сторону, проводя рукой по лбу. Она знала, что возненавидит его навеки, если он осмелится пробормотать хоть одно слово извинения или объяснения. Но Глэндон, казалось, обладал

верным чутьем, когда дело шло о ней. Она опустилась на свое место, а он переставил свой стул так, чтобы видеть ее вблизи.

— Я провел вчерашний вечер в турецких банях,—начал он.— Я послал за старым, давно выдохшимся боксером. Он в старину был другом моего отца. Я знал, что для него нет никаких тайн в нашем деле, и заставил его говорить. Забавно, мне едва-едва удалось убедить его, что мне неизвестно то, о чем я его расспрашиваю. Он назвал меня лесным младенцем. Я думаю, что он был прав. Я вырос в лесах, и кроме лесов ничего не знаю. Так вот, я вчера многое узнал от этого старика. Арена еще грязнее и хуже, чем вы говорили. Кажется, что все, кто только с ней соприкасается, продажны и подкупны. Чиновники, выдающие разрешение на состязание, дерут взятки с распорядителей, а распорядители, импрессарио и боксеры дерут, что только могут, и друг с друга. и с публики. Это возведено, с одной стороны, в сложную систему, а с другой стороны, они всегда... вы знаете, что такое «дубль-кросс»?.. (Она утвердительно кивнула головой.) Ладно, итак, они, очевидно, никогда не упускают случая нанести друг другу «дубль-кросс» и подставить ножку.

От рассказов старика у меня даже дух занялся. А я-то годами жил в этой среде и ничего не подозревал. Я был настоящим лесным младенцем. Теперь-то я вижу, как меня водили за нос. Я был настолько силен, что никто не мог меня выбить. Мне полагалось побеждать, и благодаря Стьюбенеру вся грязная сторона дела была от меня скрыта. Сегодня утром я припер к стене Снайдера Уолша и заставил его заговорить. Он был моим первым тренером, и следовал инструкциям Стьюбенера. Они держали меня в полном неведении. Помимо того, я не имел ничего общего с спортивным миром. Я все время охотился, ловил рыбу и возился со своей цветной фотографией и другими вещами. Вы знаете, как Уолш и Стьюбенер звали меня в своих разговорах?—Красной девицей. Я только сегодня узнал об этом от Уолша, на меня это прозвище подействовало так, словно мне вырывали зуб. Но они были правы. Я был маленьким, невинным ягненком.

И Стьюбенер все время пользовался мною для своих грязных проделок, только я ничего не знал об этом. Оглядываясь теперь назад, на прошлое, я вижу, как все это было подстроено. Но, видите ли, дело не интересовало меня, и поэтому и не являлось никаких подозрений. Я родился со здоровым телом и рассудительным холодным мозгом, вырос на воле и был обучен отцом, который знал бокс лучше, чем кто-либо из живущих или умерших боксеров. Работа для меня была слишком легкой. Бокс не поглощал меня

целиком. Я никогда не сомневался в исходе борьбы. Но теперь— с этим покончено.

Она указала на заглавную строку газеты, объявлявшей о его предстоящем матче с Томом Кэннемом.

— Это работа Стьюбенера,—объяснил он.—Это состязание предполагалось устроить несколько месяцев назад. Но какое мне до этого дело. Я удираю в горы. С меня хватит.

Она взглянула на лежащее на столе недописанное интервью и вздохнула.

— Как мужчины распоряжаются своей жизнью,—сказала она.— Они—хозяева жизни. Они делают все, что им вздумается.

— Изо всего, что я про вас слышал,—прервал он,—я заключил, что и вы жили так, как вам хотелось. Это одна из ваших самых привлекательных черт. Но больше всего меня с самого начала поразило, как вы и я понимаем друг друга.

Он остановился и поглядел на нее горящими глазами.

— Ладно, одним-то я все-таки обязан арене,—продолжал он.— Благодаря ей я узнал вас. А когда встречаешь настоящую женщину, остается ухватить ее обеими руками и не давать ей уйти. Идемте, поедемте вместе в горы.

Это было неожиданно, как удар грома, но она почувствовала, что все время ждала этого. Ее сердце билось сильно до боли, но эта боль была восхитительна. Наконец-то она добралась до источника простоты и силы. К тому же ей все это казалось сном. Такие вещи не могли случаться в современных редакциях. Так не полагалось объясняться в любви,—так происходило только на сцене и в книгах.

Он встал и протянул к ней обе руки.

— Я не смею,—прошептала она как бы про себя.—Я не смею...

При этих словах его глаза словно укололи ее своим презрением, но оно сразу сменилось открытым недоверием.

— Вы посмели бы сделать все, что вам захотелось,—сказал он.—Я знаю это. Тут все дело в желании, а не в смелости. Есть ли у вас желание?

Она встала, шатаясь, как во сне. В ее голове мелькнула мысль, не гипноз ли это. Ей захотелось осмотреться и поглядеть на привычные предметы этой комнаты, чтобы вернуться к действительности, но она не могла отвести от него глаз. И не могла произнести ни слова.

Он подошел и стал рядом. Его рука легла на ее руку, и она невольно прильнула к нему. Все происходило как во сне, и она больше не могла ни о чем думать. Это был вызов жизни. Он был прав. Она хотела—и вот она осмелилась. Он помог ей надеть

жакетку. Она проткнула шляпу булавками. И, еще не осознав ничего, она увидела, что выходит с ним вместе из редакции. Ряд известных романов и фильм промелькнул в ее памяти.

— Бегство герцогини,—прошептала она.

— Интересно, удалось ли им пробраться сушей или пришлось ехать морем?—шепнул он в ответ.

Сходство их переживаний и общность мыслей прозвучали для нее оправданием ее безумия.

Выйдя на улицу, он поднял руку, подзывая такси, но она прикосновением руки остановила его.

— Куда мы едем?—едва переводя дыхание, спросила она.

— На вокзал. Мы как раз поспеем захватить поезд в Сакраменто.

— Но я не могу так ехать,—протествовала она.—У меня... у меня нет даже носового платка на смену.

Он снова поднял руку, затем ответил:

— Вы купите все в Сакраменто. Мы там поженимся и захватим вечерний поезд на Север. Я протелеграфирую обо всем с дороги.

Когда мотор подъехал к ним, она быстрым взглядом окинула знакомые улицы и знакомую толпу, затем с внезапно вспыхнувшей тревогой поглядела в лицо Глэндону.

— Я ведь ничего не знаю о вас,—сказала она.

— Мы знаем друг о друге все, решительно все,—гласил ответ. Его рука поддерживала и направляла ее, она поставила ногу на подножку. В следующий момент дверца захлопнулась, он очутился рядом с ней, и машина помчалась по Маркет-Стрит. Он обнял ее, прижал к себе и поцеловал. Когда она снова посмотрела на него, то увидела, что его лицо окрасилось легким румянцем.

— Я... я слыхал, что существует искусство поцелуев,—прошептал он.—Я сам ничего не умею, но я научусь. Видите ли, вы первая женщина, какую я целовал в жизни.

ГЛАВА IX

Там, где зазубренная вершина скалы возвышается над огромным пространством девственного леса, прилегли мужчина и женщина. Внизу, у опушки леса, были привязаны две лошади. За каждым седлом висело по два небольших дорожных мешка. Деревья были однообразно громадны. Поднимаясь на сотни футов над землею, они в диаметре достигали от восьми до десяти-двенадцати футов, а многие из них были еще толще. Все утро всадники поднимались на перевал через девственные чащи, и эта скала была первым местом, куда они могли выбраться из леса, чтобы им полюбоваться.

Под ними и дальше, насколько они могли охватить взором, ряды за рядами пламенели, в дымке багряного тумана, горы. Казалось, конца нет этим горным кряжам. Они поднимались один за другим, исчезая за туманной линией горизонта, уходили из глаз, а за ними, казалось, вставали новые горы.

Ни полян, ни просек в лесу не было; на север, юг, восток и запад—девственный нетронутый лес покрывал своей мощной растительностью землю.

Они лежали на скале, наслаждаясь зрелищем. Он крепко сжимал ее руку в своей. Это был их медовый месяц, и они находились в чаще красного дерева в Мендочино. Они пробирались сюда на лошадях, с дорожными мешками за седлом, из Шасты и странствовали по лесным дебрям и чащам без определенного плана,—они решили продолжать свою прогулку, пока им не придет в голову что-нибудь другое. Одежда их была проста и груба: на пей был дорожный костюм защитного цвета, а на нем—шаровары и шерстяная рубашка, открытая у загорелой шеи. При своем росте он, казалось, был создан для жизни среди этих лесных великанов, и она, с ним рядом, была полна ощущения радости и счастья.

— Знаешь, великан,—сказала она, приподнимаясь на локте, чтобы взглянуть на него,—это еще чудеснее, чем ты обещал. И мы вместе обойдем эти леса.

— Нам предстоит обойти вместе весь остальной мир,—ответил он, меняя положение и захватывая ее руку своими руками.

— Но сначала мы осмотрим все здесь,—настаивала она.—Я, кажется, никогда не устану глядеть на эти леса... и на тебя.

Он легким движением принял сидячее положение и обнял ее обеими руками!

— Любимый мой,—прошептала она.—А я уж потеряла надежду найти такого человека.

— А я никогда и не надеялся. Я, видно, все время знал, что найду тебя. Ты рада?

Вместо ответа, она слегка прижала рукой его шею, и они молча продолжали любоваться величественным зрелищем девственных лесов и мечтать.

— Помнишь, я рассказывал тебе, как я бежал от рыжеволосой учительницы? Тогда я в первый раз увидел эту местность. Я шел пешком, но сорок или пятьдесят миль в день казались мне забавой. Я был настоящим индейцем. Я тогда не думал еще, что найду тебя. Дичи здесь было мало, но в ручьях ловилась прекрасная форель. Я жил как раз на этих скалах. Я и не мечтал, что в один прекрасный день вернусь сюда с тобою,—с тобою.

— И будешь чемпионом бокса, да?—прибавила она.

— Да, конечно; я об этом никогда не думал. Отец всегда твердил, что это так будет, и я считал это дело решенным. Видишь, отец был очень мудр. Это был замечательный человек.

— Но он не предполагал, что ты покинешь арену?

— Не знаю. Он старательно скрывал от меня ее продажность, и я думаю, что он всегда предполагал это и за меня боялся. Я рассказывал тебе о его договоре со Стьюбенером. Отец включил в него пункт о сделках. Первая неблаговидная сделка со стороны моего импрессарио—и контракт считается нарушенным.

— И все же ты хочешь бороться с Томом Кэннемом. Стоит ли игра свеч?

Он быстро посмотрел на нее.

— Ты этого не хочешь?

— Дорогой мой, я хочу, чтобы ты делал все, что тебе хочется.

Она сказала это, и пока слова звучали в ее ушах, ей показалось странным, что она, с ее врожденной упрямой независимостью всех Сэнгетеров, могла произнести их. Но она знала, что это была правда, и радовалась этому.

— Это будет очень занятно,—сказал он.

— Но я не разобралась еще во всех подробностях.

— Я их пока не разработал окончательно. Ты можешь помочь мне. Во-первых, я подставлю ножку Стьюбенеру и всему играющему на боксе синдикату. Это одна из частей программы. Я выбью Кэннема на первом же раунде. Я в первый раз буду по-настоящему свиреп в бою. Бедняга Том Кэннем, такой же продажный, как и все остальные, будет моей главной жертвой. Видишь ли, я собираюсь сказать им речь. Это не принято, но это произведет фурор, потому что я расскажу публике всю закулисную сторону дела. Бокс—хорошая игра, а они обратили его в коммерческое предприятие и загубили его этим. Но я вижу, что говорю эту речь тебе, вместо того чтобы произнести ее на арене.

— Я бы хотела присутствовать при том, как ты ее будешь говорить,—сказала она.

Он поглядел на нее и подумал.

— Я бы тоже хотел иметь тебя поблизости. Но я уверен, что это будет жестокая схватка. Нельзя предвидеть заранее, что может случиться, когда я приступлю к выполнению моей программы. Но как только там все окончится, я буду у тебя. И это будет последним появлением Юного Пэта Глэндона на какой бы то ни было арене.

— Но, дорогой мой, ты ведь никогда в жизни не говорил речей,—возразила она.—Ты можешь провалиться.

Он уверенно покачал головой.

— Я ведь ирландец,—заявил он,—а какой ирландец не умеет говорить?—Он остановился и весело расхохотался.—Стьюбенер думает, что я помешался. Он уверяет, что женатый человек не может тренироваться. Много же он понимает в браке, или во мне, или в чем бы то ни было, кроме недвижимого имущества или предрешенных боев. Но я им всем покажу себя в этот вечер, и бедняге Тому—тоже. Право же, мне его жаль.

— Боюсь, что мой дорогой «Первобытный Зверь» поступит с ними со всеми по-первобытному и по-зверски,—прошептала она.

Он засмеялся.

— Я, во всяком случае, сделаю благородную попытку. Можешь быть уверена, что это будет моим последним выступлением. А затем моя жизнь будет всецело заполнена тобою,—тобою. Но если ты против моего последнего выступления—скажи одно только слово.

— Конечно, я хочу, чтобы ты выступил, мой гигант. Я люблю своего гиганта, а поэтому он должен оставаться самим собою. Если тебе этого хочется, то и мне хочется этого для тебя—и для себя также. Предположи на минутку, что я захотела бы пойти на сцену или путешествовать по Южным морям или к Северному полюсу?

Он ответил медленно, почти торжественно.

— Тогда я бы сказал тебе—иди! Потому что ты—это ты, и ты должна быть сама собою и делать то, что тебе хочется. Я люблю тебя именно за то, что ты—это ты!

— Мы с тобой глупая пара,—сказала она, когда он выпустил ее из объятий.

— Разве это не великолепно!—воскликнул он.

Он встал на ноги, смерил глазами горизонт и заходящее солнце и протянул руку над мощными лесами, покрывавшими толпившиеся вокруг багряные кряжи гор.

— Нам придется переночевать в этих краях. Отсюда тридцать миль до ближайшей стоянки.

ГЛАВА X

Кто из присутствовавших любителей бокса забудет тот памятный вечер в «Арене у Золотых Ворот», когда Юный Пэт Глэндон побил Тома Кэннема и одержал победу над более крупным противником, чем Том? Когда Юный Глэндон в течение часа удерживал разбушевавшуюся толпу на грани возмущения и вызвал своими разоблачениями расследование проделок инспекторов и судебное осуждение импрессарио и комиссионеров. Словом—когда он чуть не разбил всю систему призового бокса. Все случившееся явилось для всех полнейшей неожиданностью. Даже Стьюбенер не имел ни малейшего

представления о готовящихся событиях. Правда, после схватки с Нэтом Поуэрсом питомец его взбунтовался, сбежал и женился; но этот порыв прошел благополучно. Юный Глэндон не обманул его ожиданий,—примирился с неизбежной продажностью всех причастных к боксу лиц и вернулся к нему обратно.

«Арена у Золотых Ворот» была только что выстроена. Это было самое обширное из выстроенных для этой цели в Сан-Франциско помещений, и это был первый матч в новом здании. В зале было двадцать пять тысяч мест, и все они были заняты. Любители бокса съехались со всех концов мира, чтобы поглядеть на этот матч, и платили по пятидесяти долларов за место в первых рядах. Самые дешевые места продавались по пяти долларов.

Знакомый гул аплодисментов приветствовал появление старого распорядителя, Билли Моргана, пролезавшего под канатом и обнажившего затем свою седую голову. Едва он раскрыл рот, как в ближайших рядах послышался громкий треск, и несколько рядов низких скамеек провалилось. В толпе раздался грубый смех, и послышались возгласы шутливого участия и советы жертвам происшествия; по счастию, никто из них не получил ушибов. Треск провалившихся сидений и радостный гул голосов заставили дежурного полицейского офицера поглядеть на одного из полисменов, подавая бровями знак, что им, видно, придется приложить здесь руки, и что вечер будет бурный.

Приветствуемые громкими аплодисментами, семеро маститых героев арены один за другим пролезли под канатом и были представлены публике. Все они были в свое время мировыми чемпионами-тяжеловесами. Билли Морган сопровождал каждое представление подходящими характеристиками. Один был им провозглашен «Благородным Джоном» и «Надежным Стариком», другой—«самым могучим борцом, какого когда-либо видела арена». Остальных он называл различно: кого—«героем ста боев, никогда не терпевшим поражений», кого—«лучшим представителем старой гвардии», «единственным, кто вернулся назад», либо—«величайшим воякой изо всех», и наконец—«самым крепким орешком, какой приходилось кому-либо разгрызать».

Все это заняло много времени. От каждого из них требовалось произнести речь, и они в ответ мямлили и бормотали что-то, покрываясь румянцем от гордости и неуклюже переминаясь с ноги на ногу. Самую длинную речь произнес «Надежный Старик»,—она продолжалась около минуты. Затем их всех снимали. Арена была запружена знаменитостями, чемпионами бокса, известными импрессарио, распорядителями и рефери. Легковесы и боксеры среднего веса кишели всюду. Казалось, все вызывали друг друга на бой. Был

здесь и Нэт Поуэрс, требовавший ответного нового матча с Юным Глэндоном; были и другие светила, которых затмил собою Пэт Глэндон. Все они вызывали Джима Хэнфорда, а ему пришлось в ответ объявить, что он принимает борьбу с победителем настоящего состязания. Публика немедленно принялась провозглашать имя победителя, при чем половина публики вопила «Глэндон», а половина—«Кэннем». В середине бешеного гама провалился новый ряд сидений, и между одураченными зрителями, купившими себе в кассе билеты, и капельдинерами, собравшими богатую жатву с «зайцев», произошел ряд столкновений. Дежурный офицер послал в полицейское управление за подмогой.

Толпа веселилась во-всю. Когда Глэндон и Кэннем показались на арене, зал напоминал собой политический митинг. Каждого из них приветствовали добрых пять минут. Теперь арена была пуста. Глэндон, окруженный секундантами, сидел в своем углу. Как и прежде, Стьюбенер стоял за его спиной. Первым был представлен Кэннем. После того, как он шаркнул ногой и наклонил голову, он был вынужден, по требованию публики, сказать речь. Он заикался и запинался, но в конце концов ему удалось выдавить из себя несколько слов.

— Я горжусь тем, что нахожусь сегодня вечером здесь, перед вами,—сказал он, и, пока гремели аплодисменты, нашел у себя в голове еще одну мысль.—Я всегда бился честно. Всю свою жизнь. Никто не может отрицать это. И сегодня вечером я сделаю все, что могу.

Раздались громкие крики: «Правда, Том! Мы знаем это! Молодец Том! Он сумеет всякого поставить на место!»

Затем настала очередь Глэндона. От него также потребовали речь, хотя от главных участников призового бокса до сих пор никогда речей не требовали. Билли Морган поднял руку, давая сигнал к молчанию, и в тишине раздался ясный, мощный голос Глэндона.

— Все говорили вам, что гордятся своим пребыванием здесь, среди вас,—начал он.—Но я не горжусь.—Публика была поражена, и он выждал некоторое время, чтобы дать ей притти в себя.— Я не горжусь этим обществом. Вы хотели речи. Я скажу вам настоящую речь. Это мой последний матч. После него я навсегда оставляю арену. Отчего? Я уже сказал вам это. Мне не по-душе эта атмосфера. Призовая арена так продажна, что ни один причастный к ней человек не может огородиться от грязи. Всюду подлость и обман, начиная от маленьких клубов и кончая сегодняшним состязанием.

Глухой гул удивления, все возрастая, перешел в этот момент в сплошной рев. Раздались громкие свистки и шиканье, и многие

начали кричать: «Начинайте борьбу! Мы требуем борьбу! Отчего не начинаете?» Глэндон, выжидая, заметил, что главные крикуны— это сидящие вблизи арены распорядители, импрессарио и боксеры. Он тщетно пытался перекричать толпу. Публика разделилась на два лагеря, и половина кричала: «Начинайте!», а вторая половина: «Речь! речь!»

Добрых десять минут длилось это столпотворение. Стьюбенер, рефери, собственник арены и устроитель состязания умоляли Глэндона начать матч. Когда он решительно отказался, рефери заявил, что если Глэндон не хочет драться, то приз будет присужден Кэннему.

— Вы не имеете на это права,—возразил Пэт.—Я вас буду преследовать за это по суду, а затем я не ручаюсь, что эта толпа выпустит вас живыми, если вы ее лишите зрелища боя. Помимо того, я собираюсь драться. Но сначала я должен окончить свою речь.

— Но ведь это против правил,—возражал рефери.

— Нет, нисколько. В правилах нет ни одного слова, запрещающего речи. Каждый из крупных боксеров говорил сегодня речь.

— Всего лишь несколько слов,—крикнул распорядитель в ухо Глэндона.—А вы тут читаете какую-то лекцию.

— В правилах ничего не сказано против лекций,—отвечал Глэндон.—А теперь, ребята, убирайтесь-ка отсюда, или я вас всех сброшу вниз.

Устроитель состязания, мужчина апоплектического сложения, несмотря на сопротивление, был схвачен за воротник пальто и брошен через канат. Он был крупным, дородным субъектом, но Глэндон, одной рукой, так легко справился с ним, что публика пришла в дикий восторг. Крики, требовавшие продолжения речи, увеличились. Стьюбенер и хозяин помещения благоразумно ретировались. Глэндон поднял руки, чтобы быть услышанным, и требовавшие начала состязания удвоили крик. Еще два или три ряда скамей провалились, и потерявшие свои места зрители увеличили общее замешательство, стараясь протиснуться между теми, которые еще сидели на уцелевших скамьях. Задние ряды, не видя из-за них арены, подняли дикий вой, требуя, чтобы все уселись.

Глэндон подошел к канату и обратился к полицейскому офицеру. Чтобы быть услышанных, ему пришлось перегнуться через веревки и кричать тому прямо в ухо.

— Если мне не удастся докончить речь,—прокричал он,—толпа разнесет все кругом. Если они разбушуются—вам их не удержать ни за что, вы сами увидите. Вам остается только помогать мне. Следите за ареной, а я успокою толпу.

Он вернулся на середину арены и снова поднял руки.

— Вы хотите, чтобы я сказал речь?—прокричал он нечеловеческим голосом.

Сотни людей, сидевших вблизи арены, услыхали его и крикнули: «Да!»

— Тогда пусть всякий, желающий меня слушать, заткнет глотку ближайшему крикуну.

Совет был принят к исполнению, и, при повторении его, голос Глэндона проник немного дальше. Снова и снова выкрикивал он его, и тишина медленно, ряд за рядом распространялась, сопровождаемая заглушенными звуками затрещин, шлепков, толчков и возни,—крикуны укрощались соседями. Волнение понемногу улеглось, как вдруг провалился один из ближайших к арене рядов. Это происшествие было встречено новым взрывом веселья, но оно замерло само собой и откуда-то далеко из задних рядов ясно прозвучали сказанные тихим голосом слова: «Валяйте, Глэндон! Мы с вами!»

Глэндон обладал свойственным кельтам интуитивным знанием психологии толпы. Он знал, что это разношерстное скопление народа, бывшее пять минут в состоянии близком к взрыву, теперь находится у него в руках. Он намеренно медлил, добиваясь большего эффекта. Пауза была рассчитана прекрасно—он не затянул ее и на секунду. Тридцать секунд продолжалась полная тишина, и от нее становилось страшно. Затем, при первом слабом шорохе, дошедшем до его уха, Глэндон заговорил:

— Когда я закончу свою речь,—сказал он,—я начну матч. Я могу обещать вам, что это будет настоящим боксом,—одним из немногих настоящих состязаний, какие вам приходилось когда-либо видеть. Я постараюсь выбить своего противника в возможно короткий срок. Билли Морган, в последнем анонсе, заявил, что это будет матч на сорок пять раундов. Разрешите сказать, что матч этот не продлится и сорока пяти секунд.

...Когда меня прервали, я как раз говорил вам, что арена развращена и продажна сверху донизу. Дело поставлено на коммерческих началах, а вы все знаете, что такое коммерческие начала. Довольно об этом. Каждый из вас, непричастный к делам тайного синдиката, безжалостно эксплоатируется им и платится своими деньгами. Отчего это сегодня проваливаются скамьи? Подлое мошенничество. Они, как и призовой бокс, были построены на коммерческих началах.

Теперь публика была вся в его руках, и он знал это.

— На двух сиденьях жмется по трое человек, я вижу это повсюду. Отчего это так? Опять мошенничество. Капельдинеры не получают жалованья, предполагается, что они сами каким-нибудь жульничеством вознаградят себя. Опять-таки—коммерческие начала!

Платите ведь вы. Конечно, вы платите. Каким образом получается разрешение на бокс? Мошенническим. А теперь я спрошу вас: если мошенничают при постройке здания подрядчики, если мошенничают капельдинеры, если идут на сделки городские власти,—отчего бы и не смошенничать участникам призового бокса? Они так и делают. А вы платите.

...Надо сказать, что виноваты в этом не сами боксеры. Не они распоряжаются в этом деле. Распоряжаются устроители и импрессарио; они ворочают всеми делами. Боксеры занимаются только боксом. В начале карьеры они бывают достаточно честны, но импрессарио вынуждают их итти на сделки или выбрасывают их. На арене неоднократно появлялись и честные боксеры. Вы и теперь их можете найти, но, как общее правило, они не много зарабатывают. Думаю, что попадались и честные импрессарио. Мой—один из лучших в этом котле. Но спросите его, сколько он вложил денег в недвижимости и доходные дома?

Здесь крики снова заглушили его голос.

— Пускай всякий, желающий слушать, заткнет глотку ближайшему крикуну,—распорядился Глэндон.

И снова, как шум прибоя, раздалась заглушенная возня, затрещины и глухие удары, затем публика затихла.

— Отчего это всякий боксер лезет из кожи, настаивая на том, что всегда боролся честно? Отчего боксеры носят такие прозвища, как «Честный Джим», «Честный Билли», «Честный Блэксмитс» и тому подобные? Неужели вас не поражает, что они все словно чего-то боятся? Когда человек кричит вам о своей честности, у вас является подозрение. Но когда эту же штуку проделывает с вами призовой боксер,—вы и в ус себе не дуете!

...«Пусть победит достойнейший!»—Как часто вы слыхали эти слова от Билли Моргана. Разрешите сказать вам, что достойнейший не всегда побеждает, а если и побеждает, то эта победа обычно заранее подстроена. Большинство крупных состязаний, о каких вы слышали или какие видали своими глазами, были подстроены заранее. Такова программа. Все условлено заранее. Неужели вы думаете, что устроители и импрессарио возятся с этим делом для собственного удовольствия? Ничуть не бывало. Они—деловые люди.

...Перед нами три борца—Том, Дик и Гарри. Самый сильный из них—Дик. Он сумел бы доказать это в двух матчах. Но что же случается на деле? Том побеждает Гарри. Дик побеждает Тома. Гарри побеждает Дика.—Итак, ничего не доказано. Затем следуют ответные матчи. Гарри побеждает Тома. Том побеждает Дика, и Дик побеждает Гарри. Снова получается та же история.

Тогда они начинают всю музыку сначала. Теперь побеждает Дик. Он говорит, что желает получить реванш. Итак, Дик победил Гарри и победил Тома. Восемь матчей, чтобы доказать, что самый достойный из троих—Дик, хотя для доказательства достаточно двух матчей. Все подстроено, все выработано заранее. А вы платите за все, и если ваши скамьи не проваливаются под вами, то капельдинеры грабят вас за право сидеть и смотреть на бокс.

...Бокс хорошая игра, если она ведется честно. Боксеры были бы честны, если бы им дали возможность быть честными. Но атмосфера жульничества слишком сильна. Подумайте только—горсточка людей делит между собой три четверти миллиона долларов, вырученных за три состязания.

Дикий взрыв негодования заставил его умолкнуть. Из гула криков и возгласов, доносившихся со всех сторон зала, можно было разобрать отдельные восклицания, в роде: «Какой миллион долларов? Какие три состязания? Говорите! Продолжайте!» Доносились до него и свистки, и шиканье, и крики: «Негодяй! Клеветник!»

— Хотите слушать?—кричал Глэндон.—Тогда соблюдайте тишину!

Он снова заставил публику выдержать полуминутную выразительную паузу.

— На что рассчитывает Джим Хэнфорд? Какую программу выработали его импрессарио и приспешники с моими? Они знают, что он у меня в руках. И он это знает. Я могу выбить его на первом раунде. Но Джим Хэнфорд—чемпион мира. Если я не подчинюсь намеченной программе, они не дадут мне возможности с ним драться. Итак, программа требует трех состязаний. Первое—выигрываю я. Оно состоится в Неваде, если Сан-Франциско не настоит на том, чтобы оно происходило здесь. Мы дадим вам настоящее, правильное состязание. Каждый из нас внесет залог в двадцать тысяч долларов. Деньги-то будут настоящие, но залог будет не настоящим. Каждый получит свои деньги обратно. То же произойдет и с доходом. Мы поделим его пополам, хотя официально победителю полагается шестьдесят пять, а побежденному тридцать пять процентов сбора. Приз и доход от кинематографа, реклама и прочие расходы,—в общем чистыми остается около двухсот пятидесяти тысяч долларов. Мы поделим их между собою и будем готовиться к ответному матчу. На этот раз победит Хэнфорд, и мы снова делимся доходами. Затем приходит момент третьего состязания; я побеждаю, потому что я имею право на победу. А пока-то мы вытянули три четверти миллиона из карманов любителей бокса. Такова программа, но деньги эти—грязны. Вот поэтому-то я сегодня и покидаю навсегда арену...

В эту минуту Джим Хэнфорд, оттолкнув удерживавшего его полицейского прямо на сидящих за ним зрителей, перебрался своей громадной персоной через канат и зарычал:

— Это ложь!

Он, как бешеный бык, бросился на Глэндона; тот отпрянул назад, а затем, вместо того, чтобы встретить нападение, ловко прыгнул в сторону. Не в силах с разбегу остановиться, колосс налетел на веревки. Отброшенный ими назад, он повернулся, чтобы снова броситься на Глэндона, но тот не дремал. Хладнокровный и зоркий Глэндон прицелился прямо в челюсть и—впервые за свою карьеру боксера—нанес противнику полновесный удар. Вся его сила, все неиспользованные ее запасы вылились в этом сокрушительном мускульном взрыве.

Хэнфорд взлетел на воздух. Он был мертв—насколько потеря сознания походит на смерть. Его ноги оторвались от пола, и он летел через арену, пока не наткнулся на верхний канат. Его беспомощное тело, согнувшись посередине, повисло поверх его, а затем рухнуло вниз с арены, прямо на головы зрителей, сидящих на отведенных для прессы местах.

Публика в своем энтузиазме не знала удержа. Она получила за свои деньги гораздо больше, чем рассчитывала получить, так как великий Джим Хэнфорд, чемпион мира, получил «нокаут» на ее глазах. Это было вне программы, но все же он был выбит с одного удара. Такого вечера не бывало еще в истории арены. Глэндон грустно разглядывал ушибленные суставы пальцев и бросил взгляд через веревки на Хэнфорда, который медленно, как после похмелья, приходил в себя. Затем Пэт поднял обе руки. Он заслужил право на внимание, и публика замолкла.

— Когда я начинал свою карьеру,—сказал он,—меня прозвали «Глэндон—с первого удара». Вы только что видели мой удар. Я всегда владел им. Я преследовал своего противника и настигал его, хотя и старался не показывать всей силы. Затем меня научили. Мой импрессарио сказал, что это нехорошо по отношению к публике. Он посоветовал вести борьбу подольше, чтобы зрители за свои деньги могли получить более длительное зрелище. Я был глупым, наивным пареньком из горной глуши. Я это принял как святую истину. Мой импрессарио обычно сговаривался со мной, на каком раунде я выбью своего противника. Затем он передавал это синдикату ставящих на боксеров лиц, и синдикат на этом играл. Ясно, что оплачивали их игру—вы. Но я рад одному: я никогда не дотрогивался до этих денег. Они не смели предложить их мне, потому что знали, что это испортило бы им игру.

...Вы ведь помните мой матч с Нэтом Поуэрсом. Я не выбивал его «нокаутом». У меня зародились кое-какие подозрения. Поэтому шайка сговорилась с ним за моей спиной. Я ничего об этом не знал. Я собирался продолжить борьбу раундов до восемнадцати. Тот удар на шестнадцатом раунде не мог сбить его с ног. Но он разыграл всю сцену так, словно получил настоящий «нокаут»—и провел всех вас.

— А как обстоят дела сегодня?—спросил чей-то голос.—Сегодня исход борьбы тоже предрешен заранее?

— Да, предрешен,—отвечал Глэндон.—На какой раунд ставит синдикат? Кэннем продержится до четырнадцатого раунда, не правда ли?

Послышался рев и крики. Глэндон в последний раз поднял руку, требуя тишины.

— Я почти кончил. Но я хочу сказать вам еще одно. Синдикат сегодня сядет на мель. На этот раз это будет честный бой. Том Кэннем не продержится до четырнадцатого раунда. Он не продержится и до конца первого.

Кэннем, сидевший в своем углу, вскочил на ноги и, в бешенстве, вскричал:

— Вы не можете это сделать. Не существует на свете человека, который может выбить меня с первого раунда!

Не обращая на него ни малейшего внимания, Глэндон продолжал:

— Всего один раз в жизни я дал удар со всей силой. Вы его видели минуту назад, когда я расправился с Хэнфордом. Сегодня же я во второй раз пущу в ход свою силу—это случится, если только Кэннем не выпрыгнет сейчас за канат и не удерет отсюда. А теперь я готов.

Он отошел в свой угол и протянул руки, чтобы ему надели перчатки. В противоположном углу бесновался Кэннем, и его секунданты тщетно пытались его успокоить. В конце концов Билли Моргану удалось сделать последнее заявление:

— Матч будет продолжаться не больше сорока пяти раундов,—прокричал он,—по правилам маркиза Куинсберри. Пусть побеждает достойнейший! Начинайте!

Прозвучал гонг. Оба боксера выступили вперед. Глэндон протянул правую руку для обычного приветствия, но Кэннем, яростно качнув головой, отказался ее пожать. К общему удивлению, он не бросился на Глэндона. Как он ни был зол, но дрался он осторожно; его затронутая гордость вынуждала его направить все усилия на то, чтобы продержаться до конца раунда. Он нанес противнику несколько ударов, но выпады его были весьма сдержанны, и он ни на секунду не забывал о защите. Глэндон гонял его по арене и

безжалостно преследовал, притоптывая при этом левой ногой. Пока он не делал крупных выпадов и не пытался их делать. Он даже опустил руки вдоль бедер и, не защищаясь, преследовал противника, как бы вызывая его на бой. Кэннем недоверчиво усмехнулся, но отказался использовать представившуюся возможность выпада.

Прошло две минуты, и затем Глэндон весь преобразился. Каждым мускулом, каждой черточкой лица он предупреждал, что решительный момент наступил. Это была игра—и он прекрасно сыграл ее. Казалось, он весь превратился в сталь,—твердую, безжалостную сталь. Это превращение оказало свое действие на Кэннема, и он удвоил осторожность. Глэндон быстро загнал его в угол и задержал его там. Он все еще не наносил ударов и не пытался их наносить; недоумение и ожидание начинали угнетать Кэннема. Он тщетно старался выбраться из угла, но не мог никак решиться броситься на противника, пытаясь выиграть у него передышку.

Теперь оно началось!—быстрая смена простых финт,—как бы мускульных вспышек. Кэннем был ослеплен. Ослеплена была и публика. В зале не нашлось бы и двух зрителей, которые впоследствии могли столковаться о том, что, собственно, произошло. Кэннем уклонился от одной финты и в тот же момент поднял руку, защищавшую лицо, чтобы принять ею финту, направленную в челюсть. Одновременно он попытался переменить и положение ног. Сидевшие у самой арены клялись, что своими глазами видели, как Глэндон направил свой удар от правого бедра и, словно тигр, бросился на противника, чтобы усилить удар всем весом своего тела. Как бы там ни было, удар пришелся Кэннему по подбородку в тот момент, когда он менял свою позицию. Подобно Хэнфорду, он потерял сознание, взлетел на воздух, ударился о канат и через него свалился на головы репортеров.

О том, что произошло в «Арене у Золотых Ворот» после, газетные статьи дать своим читателям не могли и приблизительного представления. Полиции пришлось очистить арену, но она была не в состоянии спасти зал. Это не было похоже на бунт. Это была какая-то оргия. Ни одно сиденье не уцелело. По всей огромной зале зрители соединенными усилиями выворачивали балки и столбы, переворачивая все вверх дном. Призовым боксерам пришлось искать защиты у полиции, но полиции было недостаточно для того, чтобы в безопасности вывести их за пределы здания, и боксерам, импресарио и распорядителям пришлось немало пострадать в толпе. Пощадили лишь одного Джима Хэнфорда. Его чудовищно вспухшая челюсть заслужила ему эту милость. Выгнанная в конце концов на улицу, толпа набросилась на новенький, стоивший семь тысяч долларов, автомобиль, принадлежащий известному организатору

призовых состязаний, и разнесла его в щепки, превратив все металлические части в железный лом.

Глэндон, в виду разгрома уборных, не мог переодеться, и ему пришлось добираться до автомобиля в костюме боксера, завернувшись поверх в купальный халат. Но ему не удалось ускользнуть незаметно. Толпа была так велика, что автомобиль не мог тронуться с места. Полиция была слишком занята, чтобы его выручать, но, наконец, ему удалось достигнуть соглашения: автомобиль мог двинуться шагом, сопровождаемый пятью тысячами ликующих безумцев.

Пробило полночь, когда этот ураган прошелся по Юнион-Сквэр и по улице, где остановился Глэндон. Снова послышались требования речи, и, добравшись до самой двери отеля, Глэндон все же не мог спастись от толпы, добродушно преграждавшей ему путь. Он попытался перескочить через головы своих восторженных поклонников, но его ногам никак не удавалось коснуться мостовой. По головам и плечам, поддерживаемый всеми руками, какие только могли до него дотянуться, он вернулся обратно к автомобилю. Оттуда он и произнес свою последнюю речь, а Мод Глэндон, глядя из верхнего окна на юного Геркулеса, возвышавшегося над толпой, знала одно: как всегда, он говорил правду, повторяя, что матч этот будет последним матчем, и что после него он покидает арену навсегда.

ДЖЭК ЛОНДОН

СИЛА СИЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
ДОПУЩЕНО ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

СИЛА СИЛЬНЫХ

Притчи не лгут, но лжецы любят притчи

Лип-Кинг.

Старик Длиннобородый прервал свой рассказ, облизал жирные пальцы и обтер их о голые бедра, едва прикрытые рваной медвежьей шкурой. Вокруг на корточках уселись три его внука: Быстрый Олень, Желтоголовый и Бегущий-от-Мрака. Они были похожи друг на друга. Шкуры диких зверей едва прикрывали их тощие, костлявые тела. Ноги у них были кривые и тонкие, но грудь широкая и руки громадные, тяжелые. Плечи и грудь, руки и ноги покрыты густыми волосами. На голове разросся целый лес косматых, спутанных волос, ниспадавших на глаза, круглые и блестящие, как у птиц. Глаза были поставлены очень близко друг к другу, а нижняя челюсть и скулы сильно выдавались вперед.

Была ясная, светлая звездная ночь, и можно было разглядеть в стороне ряд холмов, покрытых темным лесом. Вдали трепетало алое зарево горящих вулканов. Позади сидевших чернел зев пещеры, из которого время от времени дул резкий ветер. Перед ними пылал костер. Немного поодаль лежала наполовину съеденная туша медведя, а еще дальше—дремали огромные, похожие на волков, косматые псы. Около каждого из сидевших лежали лук, стрелы и тяжелая дубина. Несколько грубых копий стояли прислоненные к скале у входа в пещеру.

— Вот так-то мы и перебрались из пещеры на дерево,—произнес старик, по прозванию Длиннобородый.

Внуки заливались веселым смехом, словно большие дети, наслаждаясь смешной историей. Длиннобородый тоже смеялся, а кость длиною в пять дюймов, воткнутая в его нос, при этом двигалась во все стороны, что придавало его лицу особо свирепое выражение. Разумеется, Длиннобородый произнес не те слова, которые мы привели, а издал звериные крики, выражавшие приблизительно то же самое.

— Это первое, что я помню о Морской Долине,—продолжал Длиннобородый.—Мы были тогда глупым сбродом, мы еще не знали тайны силы, и каждая семья жила отдельно и заботилась только о себе. Нас

было тридцать семейств, но мы не складывали наших маленьких сил в одну большую, мы боялись друг друга и никогда не посещали соседей. На вершине нашего дерева мы построили дом из травы и набрали много камней, предназначенных для голов тех, кто вздумал бы приблизиться к нам. У нас были, кроме того, луки и стрелы. Сами мы никогда не проходили мимо деревьев чужих семейств. Однажды мой брат вздумал пройти под деревом, на котором поселился старый Бу-У, и тот проломил ему камнем голову. Таков был конец моего брата.

Старый Бу-У был очень силен,—говорят, он легко мог оторвать голову всякому взрослому человеку,—но я никогда не слыхал, чтобы он действительно сделал это, потому что никто не хотел пожертвовать для пробы своей головой. Отец тоже не хотел. Однажды, когда он ушел на берег моря, Бу-У погнался за моей матерью. Она не могла быстро бежать, потому что накануне, когда она была в горах и собирала ягоды, медведь ободрал ей ногу. Поэтому Бу-У поймал ее и утащил к себе на дерево. Отец никогда не получил ее обратно, так как слишком боялся. Старый Бу-У строил ему рожи, но отец не обращал на него внимания.

Другим силачом был Сильная Рука. Он был одним из лучших рыболовов. Но однажды, вскарабкавшись на скалу за яйцами чайки, он сорвался и упал, и с тех пор уже не был сильным. Он все время кашлял, и плечи его сузились. Тогда мой отец отнял у него жену, а когда тот подходил к нашему дереву и звал ее, отец смеялся над ним и кидал в него камнями. Таков был наш обычай. Тогда мы еще не знали, как соединить свои силы, чтобы стать могучими.

— Что же, и брат отнимал жену у брата?—спросил Быстрый Олень.

— Да, если он уходил жить на другое дерево.

— Теперь мы уже не поступаем так,—заметил Бегущий-от-Мрака.

— Это потому, что я научил ваших отцов жить лучше,—ответил Длиннобородый. При этом он запустил руку в медвежью тушу, оторвал большой кусок сала и принялся задумчиво его сосать. Вытерев пальцы о бедра, он продолжал:—Все это было очень давно; это было тогда, когда мы не знали ничего лучшего.

— Вы, стало быть, были настоящими дураками, если не знали ничего лучшего,—заметил Быстрый Олень.

Желтоголовый одобрительно хрюкнул.

— Да, это верно, но впоследствии, как вы сейчас увидите, мы оказались еще глупее, хотя мы шли как будто к лучшему, и вот как это произошло. Мы, рыбоеды, еще не умели соединять свои отдельные силы в одну общую. Но мясоеды, жившие по ту сторону

Большой Долины, всегда держались вместе,—вместе охотились, вместе ловили рыбу, вместе воевали. Однажды они пришли в нашу долину. Каждая наша семья тотчас укрылась на своем дереве. Мясоедов было всего десять, но они воевали вместе, а у нас каждая семья воевала только за себя.

Длиннобородый долго и напряженно считал что-то по пальцам.

— Нас было шестьдесят человек,—объяснял он словами и жестами.—Мы были очень сильны, только мы не понимали этого. Мы с любопытством смотрели, как десять человек атаковали дерево Бу-У. Бу-У прекрасно сражался, но он был обречен на гибель. Когда несколько мясоедов начали взбираться на дерево, Бу-У принужден был вылезть из гнезда, чтобы кидать камни; тогда остальные пустили в него стрелы; таков был конец Бу-У.

Затем мясоеды напали на того, кого мы звали Кривой Глаз. Кривой Глаз жил в пещере. Они обложили пещеру хворостом, подожгли и выкурили его, как мы теперь выкуриваем медведя; потом они пошли к дереву, на котором жил Шестипалый; и, пока они убивали его и его взрослого сына, мы все бежали. Они взяли у нас несколько женщин, убили двух стариков, которые не могли быстро бежать, и много детей. Женщин они увели с собой в Большую Долину.

После этого мы все возвратились и, очевидно, под влиянием страха стали толковать о происшедшем. Это был наш первый настоящий совет; на этом совете мы впервые почувствовали себя племенем, так как нас хорошо проучили. Из десяти мясоедов каждый обладал силою всех остальных; они сражались все как один, они передавали друг другу свою силу, а у нас все тридцать семейств и все шестьдесят человек владели силою только одного человека, ибо каждый сражался отдельно.

Это был очень важный разговор и очень трудный разговор, так как мы не находили нужных слов... Впоследствии Жук придумал много новых слов, да и все мы время от времени выдумывали слова. Все-таки мы сговорились, наконец, как соединить свои силы на тот случай, если бы мясоеды снова пришли похищать наших женщин. Так образовалось наше племя. Мы поставили на границе двух часовых: один стоял ночью, другой—днем, они должны были следить, не идут ли мясоеды. Это были глаза нашего племени. Кроме того, десять человек были постоянно наготове и днем и ночью, чтобы в случае надобности оказать врагу сопротивление. Прежде, когда кто-нибудь отправлялся ловить рыбу или собирать яйца чаек, он непременно брал с собой оружие и боялся, чтобы кто-нибудь не напал на него. Половина времени тратилась на это подстерегание друг друга. Теперь все изменилось. Люди ходили без оружия и все свое время посвящали добыванию пищи. Когда женщины шли в горы

собирать корни и ягоды, то пятеро из десяти мужчин непременно сопровождали их как стража. В то же время Глаза Племени день и ночь наблюдали за врагом.

Но вскоре начались смуты,—по обыкновению они начались из-за женщин. Мужчины, не имевшие жен, хотели взять чужих жен, и начались постоянные драки. Они очень часто разбивали друг другу голову и протыкали друг друга копьями. Когда один из сторожей стоял на границе, кто-нибудь похищал его жену, и тот бежал защищать ее; тогда другой сторож убегал, боясь, что похитят его жену; так между мужчинами происходили постоянные стычки. Они сражались пять против пяти и все время преследовали друг друга.

Таким образом, племя оставалось без Глаз и без охраны. У нас не было силы шестидесяти человек. У нас совсем не было силы. Тогда мы созвали Совет и выдумали свои первые законы. Я был тогда еще щенком, но я все это хорошо помню. Мы постановили, что для того, чтобы быть сильными, мы не должны драться между собой, а тот, кто будет убивать человека, сам будет убиваем племенем. Мы постановили убивать и того, кто похитит у другого жену. Мы решили также, что следует убивать того, кто слишком силен. Потому что его сила пугала бы остальных, и племя опять стало бы таким же слабым, каким оно было во время нашествия мясоедов, убивших Бу-У.

Костлявый Кулак был сильный человек, чрезвычайно сильный человек, и он не хотел признавать закон, он признавал только свою собственную силу, и не зная, куда девать свою силу, он пошел и похитил жену у того, кого мы звали Три Ракушки. Три Ракушки попытался сопротивляться, но Костлявый Кулак вышиб ему мозг. Костлявый Кулак забыл, что все мы сговорились соединять свои силы для того, чтобы заставить каждого уважать закон, и вот мы убили его у подножия его дерева и повесили его тело на этом дереве, в доказательство того, что закон сильнее человека. Мы все вместе взятые были законом, и ни один человек не мог осилить закона.

Но начались новые смуты, ибо знайте, о Быстрый Олень, Желтоголовый и Бегущий-от-Мрака, что не легко образовать племя. Было много мелочей, совсем незначительных мелочей, которые, однако, поселяли среди нас раздор и принуждали нас созывать Совет. Мы должны были созывать Совет утром, днем, вечером, поздно ночью. У нас уже не было времени ходить за добычей, потому что всегда надо было решать какую-нибудь мелочь: то назначать новых сторожей, то определять количество пищи для тех, что дежурили с оружием в руках и не могли сами ходить на охоту.

Нам нужен был вождь, который решал бы все эти мелочи и который был бы, так сказать, голосом племени. Таким вождем мы избрали Фиф-Фифа. Он был очень сильный человек, и когда злился, издавал носом особый звук «фиф-фиф», словно дикая кошка. Тем десятерым, которые охраняли племя, было приказано построить каменную ограду в узкой части долины. Женщины и большие дети, так же как и некоторые мужчины, помогали им, пока стена не была готова. После того все семьи покинули свои пещеры и деревья и построили тростниковые хижины у подножия стены. Эти хижины были гораздо больше и лучше, чем старые. И, таким образом, все выиграли от того, что научились передавать друг другу свою силу и образовали племя. Теперь, благодаря стене и стражам, у нас оказалось гораздо больше времени для собирания корней и ягод; у нас стало гораздо больше пищи, и пища эта была гораздо лучше, так что никто не был голоден. Три Ноги, прозванный так потому, что в детстве сломал себе ногу и ходил с палкой,—Три Ноги нашел где-то семена дикой пшеницы и посеял их возле своей хижины. Он пробовал также сажать различные корни, которые собирал на горах и в долинах.

В Морской Долине было вполне безопасно жить, так как она была укреплена стеною и окружена сторожами. В ней было много пищи, ради которой не нужно было сражаться, и очень многие семейства, жившие подобно зверям в горах и лесах, стали перебираться в Морскую Долину. Скоро в Морской Долине поселилось великое множество семейств, но прежде чем это случилось, вся земля, бывшая дотоле общим достоянием и никому в отдельности не принадлежавшая, была разделена на участки. Три Ноги первый положил этому начало, посеяв пшеницу. Большинство же из нас мало думали о земле. Мы считали большой глупостью огораживать участки каменными оградами. Я вспоминаю, как мы с отцом строили такую ограду для Три Ноги, и он нам за это платил пшеницею.

Таким образом, не все воспользовались землею. Но Три Ноги забрал себе самый большой участок. Владевшие землею очень часто отдавали ее в обмен на медвежьи шкуры, на корни, на рыбу, которую земледельцы получали от рыбаков в обмен на пшеницу. Скоро мы заметили, что вся земля уже разобрана.

Около этого времени умер Фиф-Фиф, и вождем стал его сын Собачий Зуб. Он потребовал, чтобы его считали вождем просто потому, что его отец был вождем. Себя он считал уже важнее своего отца. Сначала он был хорошим вождем и много работал, так что Совету почти не приходилось собираться. Но в это время в Морской Долине прозвучал новый голос, то был голос Кривой Губы. Раньше никто не замечал его, до тех пор, пока он не стал разговаривать с душами

умерших. Мы прозвали его впоследствии Пузатым, так как он очень много ел, ничего не делал и становился все круглее и круглее. Однажды он вдруг заявил нам, что владеет тайной смерти и умеет слушать голос бога. Он очень подружился с Собачьим Зубом, и Собачий Зуб приказал нам построить для Пузатого большую хижину. Пузатый объявил свою хижину табу и утверждал, что в ней поселился бог. Скоро Собачий Зуб перестал созывать Совет. А когда Совет заявил, что выберет нового вождя, Пузатый побеседовал с богом и сказал, что этого не следует делать. Таким образом, и Три Ноги, и все другие, владевшие землей, должны были подчиниться Собачьему Зубу. Самым сильным человеком в Совете был Морской Лев, и все владельцы земли приносили ему в подарок разные злаки. Морской Лев тоже утверждал, что Пузатому нужно повиноваться, так как он вещает волю божью. Вскоре Морской Лев был назван Голосом Собачьего Зуба и по большей части говорил вместо него.

Среди нас жил еще Дохляк, маленький человечек, до того тощий, что казалось, никогда он не ел вдоволь. Возле самого устья реки, на песчаной отмели, он построил большую западню для рыб. Никто из нас и не мечтал ни о какой западне для рыб, но он работал несколько недель, при чем жена и сын ему помогали, а мы смеялись над его работой. Когда западня была готова, он поймал в нее в один день больше рыбы, чем могло бы раньше наловить целое племя в течение недели. Мы все очень обрадовались. На реке было еще одно место, где можно было построить вторую западню, но когда мой отец, я и еще кое-кто из нашего племени стали ее строить, то явились сторожа из той большой хижины, которую мы построили для Собачьего Зуба. Сторожа кололи нас копьями, гнали и говорили, что Дохляк будет здесь строить вторую западню, по приказанию Морского Льва, который был Голосом Собачьего Зуба.

Это вызвало большое неудовольствие, и отец мой созвал Совет. Но когда он встал и начал говорить, Морской Лев метнул ему в шею копье, и мой отец умер. Собачий Зуб, Дохляк, Три Ноги и все те, кто владел землею, говорили, что Морской Лев поступил правильно, а Пузатый, кроме того, утверждал, что такова была воля божья. После этого все стали бояться говорить в Совете, и Совет больше не собирался.

Другой человек, по прозванию Свиная Челюсть, вздумал разводить коз. Он наслышался об этом от мясоедов, и скоро у него было уже небольшое стадо. Другие люди, у которых не было ни земли, ни западни для рыбы и которые обречены были на голодание, охотно работали на Свиную Челюсть, сторожили его коз от диких собак и тигров и гоняли на горные пастбища. Взамен Свиная Челюсть давал

им козье мясо и козьи шкуры, при чем они, в свою очередь, часто выменивали это мясо и эти шкуры на рыбу, пшеницу и корни.

Около этого времени появились деньги. Морской Лев первый придумал их, сговорившись с Собачьим Зубом и Пузатым.

Из всех нас только эти трое брали себе долю от всей добычи в Морской Долине. Они забирали себе одну из каждых трех корзин пшеницы, одну из каждых пойманных трех рыб, одну из каждых трех коз, за это они кормили сторожей и надсмотрщиков, а то, что оставалось, брали себе. Очень часто, после большого улова, они не знали, что делать со своею долею; поэтому Морской Лев велел женщинам делать из раковин деньги, маленькие гладкие кружочки с дырками посредине. Их нанизывали на нитку, и такая связка называлась «деньги». Каждая связка равнялась по ценности тридцати или сорока рыбам, но женщины, делавшие по одной связке в день, получали за это только две рыбы. Они получали рыбу из доли Собачьего Зуба, Пузатого и Морского Льва, так как те не могли съесть всей своей рыбы. Таким образом, и деньги стали принадлежать им. Затем они объявили Три Ноги и другим землевладельцам, что те должны платить подать не пшеницей и не корнями, а деньгами. Дохляку они велели тоже платить подать деньгами, а не рыбой, и Свиная Челюсть теперь вместо коз должен был давать им деньги. Таким образом, человек, который ничего не имел, работал на того, кто имел много, и за это получал деньги. На деньги же он покупал пшеницу, рыбу, мясо и сыр. И все стали платить подати деньгами, а Собачий Зуб, Морской Лев и Пузатый, в свою очередь, деньгами платили сторожам, а сторожа на деньги покупали себе пищу. А так как деньги доставались очень дешево, то Собачий Зуб нанял себе очень много сторожей. Делать деньги было очень просто, и многие пытались делать их сами, но сторожа за это протыкали их копьями и осыпали стрелами, говоря, что они хотят разрушить благосостояние племени и произвести раскол, а раскалываться мы не могли, ибо тогда пришли бы мясоеды и убили бы нас всех. Пузатый был голосом бога, но он взял Сломанное Ребро и сделал его жрецом, так что Сломанное Ребро стал Голосом Пузатого и по большей части говорил за него. У обоих в услужении находилось много других людей. Также и у Три Ноги, и у Дохляка, и у Свиной Челюсти было много людей, которые валялись на траве перед их хижинами и оказывали им разные мелкие услуги. Люди все больше и больше старались увильнуть от работы. И те, которым это не удавалось, принуждены были работать и за себя, и за других. Казалось, что все только и думали о том, чтобы заставить других работать вместо себя. Косой Глаз нашел такой способ. Он первый научился гнать из пшеницы огненную воду. После того он уже ничего другого не

делал, так как тайно сговорился с Собачьим Зубом, что ему одному разрешено будет гнать огненную воду. Но даже и этого он не делал сам. Он нанял людей гнать огненную воду и платил им деньгами. Сам он продавал огненную воду тоже за деньги, и все ее покупали. Много, много денег пришлось ему за это заплатить Собачьему Зубу и Морскому Льву.

Когда Собачий Зуб взял себе вторую жену, а потом третью, то Пузатый и Сломанное Ребро защищали его. Они говорили, что Собачий Зуб совсем не то, что остальные люди, что он второй после бога, которого Пузатый держит у себя в хижине. Собачий Зуб подтвердил это и сказал, что никому не советует ворчать на него и считать его жен. Собачий Зуб, кроме того, велел сделать большую лодку и нанял много людей, которые целый день валялись на солнце и были заняты только тогда, когда Собачьему Зубу приходила охота покататься на лодке. Он сделал Тигровую Морду начальником стражи, так что Тигровая Морда стал его правой рукой и убивал всякого, кто почему-нибудь не нравился Собачьему Зубу. Но удивительнее всего было то, что чем больше мы с течением времени работали, тем меньше нам доставалось пищи.

— А козы, а пшеница, а корни, а рыба?—спросил Бегущий-от-Мрака.—Куда же все это делось? Разве нельзя было получить пищу в уплату за работу?

— Это так,—ответил Длиннобородый,—три человека с помощью западни налавливали рыбы больше, чем прежде налавливало все племя. Но я уже говорил вам, что мы были дураками: чем больше пищи мы добывали, тем меньше доставалось на нашу долю.

— Но разве вы не понимали, что вся она шла тем, которые не работали?—спросил Желтоголовый.

Длиннобородый печально покачал головой.

— Собаки Собачьего Зуба объедались мясом, люди, которые валялись на солнце и ничего не делали, заплывали жиром, а вместе с тем множество младенцев кричало от голода и умирало.

На Быстрого Оленя очень подействовали слова рассказчика о голоде. Он оторвал от медвежьей туши большой кусок и начал поджаривать его на углях; потом он его съел, облизываясь от удовольствия.

Длиннобородый между тем продолжал:

— Когда мы роптали, поднимался Пузатый и заявлял, что бог выбрал мудрых людей для управления племенами и что без этих мудрых людей мы бы не отличались от животных, как не отличались в те дни, когда жили на деревьях.

И еще появился один, который начал петь вождю песни. Мы прозвали его Жуком, потому что он был мал и безобразен, и совсем не хотел работать. Но он очень любил жирные мозговые кости,

хорошую рыбу, парное козье молоко, пшеницу и уютное местечко возле огня; и вот, начав петь песни вождю, он нашел способ быть сытым и вместе с тем ничего не делать. И когда народ все больше и больше возмущался, и многие кидали камни в хижину вождя, Жук пел песню о том, как хорошо быть рыбоедом. В своих песнях он говорил, что рыбоеды—народ, избранный богом, что рыбоеды—лучшие творения бога. Мясоедов он называл свиньями и пел о том, как хорошо и достойно итти войною на мясоедов и убивать их. Его песни разжигали нас, как огонь, и мы хотели итти воевать с мясоедами; мы даже забывали про свой голод, забывали свое недовольство и были польщены, когда Тигровая Морда, выбрав некоторых из нас, велел нам пойти убивать мясоедов. Но положение в Морской Долине не стало лучше. Единственным способом добыть пищу было работать на Три Ноги, или на Дохляка, или на Свиную Челюсть, так как не оставалось земли, которую человек мог возделывать для себя. И очень часто искавших работы было больше, чем требовалось Три Ноги и остальным. Эти люди голодали, так же как их жены, дети и старухи-матери. Тигровая Морда нанимал их в сторожа, и они охотно шли, и на их обязанности лежало укрощать всех недовольных и понукать ленивых.

А когда мы снова бунтовали, Жук пел новые песни; он пел о том, что Свиная Челюсть и Три Ноги—сильные и великие люди, и что поэтому им досталось так много; он говорил, что мы должны радоваться, что среди нас есть такие великие люди, иначе нас бы давно победили мясоеды. Поэтому мы должны радоваться, что дали возможность сильным людям владеть всем тем, чем они владеют. Пузатый, Свиная Челюсть и Тигровая Морда подтверждали, что он говорит правду.

«Хорошо,—сказал Длинный Клык,—буду и я сильным человеком»,—и он достал пшеницы, стал гнать и продавать за деньги огненную воду, а когда Косой Глаз жаловался, то Длинный Клык утверждал, что он сильный человек, и что если Косой Глаз будет шуметь, он выбьет из него мозг.

Косой Глаз очень испугался и пошел говорить с Три Ноги и со Свиной Челюстью; после этого все они втроем отправились с жалобой к Собачьему Зубу. Собачий Зуб переговорил с Морским Львом, а Морской Лев оповестил об этом Тигровую Морду. Тогда Тигровая Морда послал своих сторожей, и те подожгли дом Длинного Клыка, и дом сгорел вместе с огненной водой. Сторожа убили его и всю его семью. Пузатый сказал, что это очень хорошо, а Жук сложил новую песню о том, сколь необходимо и полезно блюсти закон, и какой чудесный край Морская Долина, и что каждый человек, любящий Морскую Долину, должен защищать ее и убивать мясоедов;

и опять его песни воспламенили нас, как огонь, и мы забыли свое недовольство.

И вот что было очень странно. Когда Дохляк вытаскивал так много рыбы, что пришлось бы отдавать ее помногу за незначительное количество денег, он выбрасывал в море всю лишнюю рыбу, и за оставшуюся приходилось платить дороже. Три Ноги тоже очень часто не засеивал всех своих полей, чтобы поднять цену на пшеницу. А так как женщины делали из раковин монет больше, чем на них можно было купить, то Собачий Зуб велел приостановить выделку денег. Женщины остались без работы, и многие из них стали служить вместо мужчин. Женский труд был дешевле, мы остались без заработка, и Тигровая Морда предложил нам стать сторожами. Но я не мог поступить в сторожа, так как я хромал на одну ногу, и Тигровая Морда забраковал меня. Таких, как я, было очень много. Мы были калеками и могли только все время бродить в поисках работы или присматривать за детьми, пока женщины работали.

Желтоголовый также проголодался во время рассказа и теперь поджаривал на углях кусочки мяса.

— Но почему же вы не восстали и не прогнали Пузатого, Свиную Челюсть и всю эту компанию?—спросил Бегущий-от-Мрака.

— Потому что мы до этого не додумались,—ответил Длиннобородый,—у нас было слишком много забот; кроме того, сторожа все время грозили нам копьями, Пузатый толковал про бога, а Жук пел новые песни. Если же кто-нибудь и додумывался до этого, то Тигровая Морда тотчас приказывал привязать его во время отлива к утесу так, чтобы он захлебнулся во время прилива.

Удивительная вещь деньги: они в роде песен Жука. Все как будто обстояло благополучно, но на самом деле было не так, и мы постепенно стали понимать это. Собачий Зуб начал копить деньги, он сложил их в большие ящики и велел сторожам охранять их днем и ночью. И чем больше он скапливал денег, тем дороже они становились, так что люди принуждены были больше работать, чтобы заработать ту же сумму. Кроме того, все время ходили толки о войне с мясоедами, и Собачий Зуб велел Тигровой Морде наполнить хижины кореньями, сушеной рыбой, копченым козьим мясом и сыром. И, несмотря на эти громадные запасы пищи, людям нечего было есть. Что же получалось? Если народ начинал роптать слишком громко, Жук пел новые песни, Пузатый утверждал, что сам бог велел убивать мясоедов, а Тигровая Морда предлагал нам или убивать, или быть убитыми. Я был слишком плох для того, чтобы быть сторожем и жиреть, лежа на солнце, но на войну Тигровая Морда забрал и меня. Когда мы съели все запасы пищи, сложенные

в хижинах, мы прекратили войну и вернулись, чтобы сделать новые запасы.

— Значит, вы были все сумасшедшими,—заметил Быстрый Олень.

— Да, сумасшедшими,—согласился Длиннобородый.—Все это выходило очень удивительно. Среди нас был некто, по прозванию Сломанный Нос; он говорил, что все пошло плохо. Он говорил, что мы в самом деле стали сильнее, соединив свои силы. Он говорил также, что мы были совершенно правы, когда, образовав племя, постановили убивать тех, которые слишком выделялись своей силой, и тех, которые нападали на своих братьев и похищали их жен; а теперь, по его словам, племя стало не сильнее, а слабее, потому что укоренились люди, сила которых была вредна для племени. Эти люди обладали силою земли, как, например, Три Ноги; силою западни для рыб, как, например, Дохляк; силою козьих стад,—Свиная Челюсть. «Первым делом,—говорил Сломанный Нос,—нам надо лишить этих людей их проклятой силы, и вообще не давать есть тому, кто не трудится». И тогда Жук спел песню в честь Сломанного Носа, воспевая людей, которые хотят вернуться и жить на деревьях. Однако, Сломанный Нос отрицал это, он утверждал, что он хочет итти не назад, а вперед. Он напомнил, что наше племя стало сильно лишь после того, как мы соединили все наши силы. «Но если бы,—говорил он,—рыбоеды соединили свои силы с мясоедами, то не было бы больше никакой войны, не нужно было бы ни воинов, ни сторожей; и было бы так много пищи, что каждому человеку пришлось бы работать не больше двух часов в день».

Тогда Жук снова запел. И он пел, что Сломанный Нос—лентяй. А потом сочинил песни о пчелах. Это были странные песни, и слушавшие их делались как безумные, точно они опились огненною водою. В песне рассказывалось, как дружно жили пчелы и как к ним явилась разбойница-оса и стала воровать их мед. Оса была ленива и говорила пчелам, что не стоит работать, а кроме того, она советовала им подружиться с медведями, которые, по ее словам, были не ворами меда, а хорошими друзьями. Все слова Жука были двусмысленны, и слушавшие его песни понимали, что под роем пчел надо разуметь Морскую Долину, что медведи означали мясоедов, а ленивой осой был Сломанный Нос. И когда Жук пел, что рой, послушавшись осы, едва не погиб, все мы ворчали и роптали; а когда он запел, что пчелы в конце концов одумались и убили ленивую осу, то мы схватили камни и на смерть побили ими Сломанный Нос, так что вскоре ничего не было видно, кроме груды камней, насыпанной над ним. А среди нас были бедняки, которые тяжко трудились, все время голодая, и они тоже участвовали в избиении Сломанного Носа.

После смерти Сломанного Носа только один еще человек решился поднять свой голос,—это был Волосатая Морда.

«Где сила сильных?—говорил он.—Все мы вместе очень сильны, и мы куда сильнее и Собачьего Зуба, и Тигровой Морды, и Свиной Челюсти, и всех остальных, которые ничего не делают, а только едят и ослабляют нас своею злою силою. Рабы не могут быть сильными. Если бы человек, который научился первый добывать огонь, захотел использовать свою силу, то мы сделались бы его рабами, как теперь мы рабы Дохляка, который сумел первый построить западню для ловли рыбы, рабы того, кто научился первый засевать землю, разводить коз, делать огненную воду. Раньше, когда мы жили на деревьях, никто не чувствовал себя в безопасности. Но теперь мы уже не воюем друг с другом,—мы соединили свои силы. Давайте же соединимся с мясоедами, и мы будем действительно сильными. Тогда мы будем совместно убивать тигров, львов, волков, диких собак, будем пасти своих коз на лугах, сеять пшеницу в горных долинах. С того дня мы будем так сильны, что все дикие звери убегут от нас или погибнут, и никто не сможет сопротивляться нам, так как сила всех людей сольется в одну всемирную силу»,—так сказал Волосатая Морда... И они убили его, называя его дикарем, пожелавшим опять жить на дереве. Это было очень странно,—как только являлся какой-нибудь человек и призывал итти вперед, его тотчас же обвиняли в желании итти назад и убивали. Бедный безумный народ побивал таких людей камнями. Все мы были безумными, за исключением сытых и тех, кто ничего не делал. Дураков называли мудрецами, а мудрецов побивали камнями. Работавшие почти ничего не ели, а бездельники ели слишком много.

Племя стало терять свою силу. Дети были слабы и хилы. От недоедания у нас развивались разные болезни, и мы умирали, как мухи. Тогда мясоеды двинулись на нас. Тигровая Морда раньше не раз водил нас против них в бой, теперь они решили отомстить нам за пролитую кровь. Мы были слишком слабы и не могли отстоять Большую Стену. И они убили почти всех нас, за исключением некоторых женщин, которых взяли с собою. Ускользнули еще Жук и я. Я укрылся в дикой местности, стал охотником и больше не голодал. Затем я похитил у мясоедов одну женщину и ушел жить в горы, где мясоеды не могли найти меня. У нас родилось три сына. И каждый из трех сыновей похитил себе жену у мясоедов. Остальное вы знаете, ибо—разве вы не сыновья моих сыновей.

— А Жук?—спросил Быстрый Олень.—Что с ним сталось?

— Он пошел жить к мясоедам и стал петь песни их вождю. Он уже совсем старик теперь, но он поет все те же старые песни,

а когда является человек, призывающий итти вперед, Жук утверждает, что человек этот хочет жить на деревьях.

Длиннобородый запустил руку в медвежью тушу и, вырвав кусок сала, стал сосать его беззубым ртом.

— Когда-нибудь,—сказал он, вытирая пальцы о бедра,—все дураки умрут, а живые люди захотят итти вперед; они поймут, что такое сила сильных,—соединят все свои силы, и им не придется воевать друг с другом, не будет ни воинов, ни сторожей, ни стен. Дикие звери будут убиты, и, как предсказывал Волосатая Морда, на всех лугах будут пастись козы, а все поля будут засеяны пшеницей. Все люди станут братьями, и никто не будет в безделье жиреть на солнце. Это будет тогда, когда умрут все дураки и когда не будет больше певцов, поющих песни из жизни пчел.

Ибо пчелы—не люди.

ПО ТУ СТОРОНУ ЧЕРТЫ

Старый Сан-Франциско—или, иными словами, Сан-Франциско до землетрясения—был разделен пополам чертой. Этою чертою была железная перекладина, шедшая посредине Базарной улицы. К этой перекладине был прикреплен бесконечный канат, к которому можно было привязывать повозки и тележки, и который перетаскивал их с одного конца улицы на другой. В сущности говоря, было две перекладины, но в обиходе их считали как бы за одну и называли просто перекладиной, или чертой. К северу от черты были театры, гостиницы, роскошные магазины, банки, конторы; по другую сторону черты, к югу, были заводы, мрачные притоны, кабаки, прачечные, починочные мастерские и дома, где жили рабочие. Таким образом, перекладина, или черта, приобрела как бы некое символическое значение—она означала разделение общества на два класса, и никто не умел так ловко переходить черту, как Фредди Друммонд. Он приспособился жить в обоих мирах и в обоих мирах чувствовал себя превосходно.

Фредди Друммонд был профессором социологии в Калифорнском университете, и в первый раз он перешел черту именно как профессор социологии. Он прожил шесть месяцев в рабочем квартале и написал свой труд под названием «Неопытный рабочий»,—книгу, которую всюду отметили, как ценный вклад в литературу прогресса и как великолепный отпор литературе недовольства. И в политическом и в экономическом смысле книга была вполне ортодоксальна [1]. Председатели крупных железнодорожных компаний покупали эту книгу целыми изданиями для раздачи ее своим служащим. Объединение мануфактурных фабрик купило сразу пятьдесят тысяч экземпляров. В некоторых отношениях книга эта была столь же замечательна, как знаменитые «Послания к Гарсиа», хотя по своей проповеди наживы и сытого довольства она напоминала «Миссис Викс и огород с капустой».

---

[1]) Ортодоксальный—правоверный.

Вначале Фредди Друммонд никак не мог приноровиться к рабочим. Он не привык к их способам обращения, а они косились на него. Рабочие относились к нему подозрительно. Фредди Друммонд не имел стажа, ничего не мог рассказать о своей прежней работе и вдобавок подавал для пожатия изнеженную руку. Его необыкновенная вежливость тоже была подозрительна. Когда он впервые решил разыграть роль рабочего, то вообразил, что всякий независимый американец может заниматься чем ему угодно и ни перед кем не отчитываться. Оказалось—не совсем так. Рабочие сочли его за чудака. Спустя некоторое время, немного освоившись с новым положением, он незаметно для самого себя стал разыгрывать более легкую роль человека, опустившегося случайно и временно.

Он понахватал много интересных фактов, и все это послужило ему материалом для «Неопытного рабочего». Его обобщения были не всегда правильны благодаря отсталости, свойственной людям его типа, но он ловко вывернулся, назвав свои выводы «попыткою к обобщению». Первые свои опыты он начал на консервном заводе Уильмакса, где ему была поручена выделка небольших ящиков. На завод присылались готовые части, и нужно было только сколачивать их тонкими гвоздями с помощью легкого молотка. Работа была нехитрая и оплачивалась она сдельно. Обыкновенный рабочий вырабатывал полтора доллара в день. Фредди Друммонд заметил, что некоторые рабочие, исполнявшие ту же работу, как и он, даже не работая особенно ретиво, вырабатывали один доллар семьдесят пять центов. На третий день он стал зарабатывать столько же. Но он был самолюбив, он не хотел этим ограничиться, и на четвертый день заработал два доллара; а еще через день, работая не покладая рук, он заработал даже два с половиной доллара. Его сотоварищи стали ворчать и злобно над ним насмехаться, а кроме того, говорили что-то между собою на непонятном для него рабочем жаргоне. Они говорили, что необходимо прижимать хозяев и по возможности обуздывать свою прыть. Его очень удивило такое отношение к сдельной работе, и он сделал много выводов относительно врожденной лености и непредприимчивости рабочего класса, а на следующий день выработал уже три доллара.

Когда Друммонд в тот вечер выходил из завода, к нему подошли его товарищи и стали осыпать его гневными и непонятными упреками. Он старался осмыслить руководившие ими побуждения. Они спорили очень ожесточенно. Когда он наотрез отказался работать меньше и напомнил им о свободном договоре, о независимости американского гражданина и о достоинстве труда, они решили собственными средствами умерить его пыл. Завязалась жестокая драка. Друммонд был рослый человек и атлет. Но толпа в конце-концов

осилила его; ему изрядно помяли бока, расквасили физиономию, вывихнули пальцы, так что пришлось пролежать неделю в постели, прежде чем он оказался способен приняться за другую работу.

Все это он изложил в своей первой книге, в главе, названной «Тирания труда». Через некоторое время работая в другом отделении того же завода в качестве распределителя фруктов, он однажды попытался нести два ящика вместо одного, за что немедленно получил упрек от своих товарищей. Ему было совсем нетрудно нести два ящика, но он решил, что находится здесь не для того, чтобы вводить свои обычаи, а для того, чтобы наблюдать обычаи уже заведенные. И поэтому он стал носить по одному ящику и вскоре так хорошо изучил искусство отлынивать от работы, что написал об этом специальную главу, в которой пытался делать обобщения.

За эти шесть месяцев он работал на стольких заводах, что из него выработалась довольно удачная пародия на рабочего. Фредди Друммонд был природным лингвистом [1]), он всегда носил при себе записную книжку, делал в ней различные заметки и в конце концов довольно удачно научился говорить на рабочем жаргоне. Этот жаргон помог ему лучше вникнуть в ход мыслей рабочих, что, в свою очередь, дало ему возможность написать исследование, под названием «Синтез психологии рабочего класса».

Перед тем как вынырнуть после этого своего ныряния на дно моря, он заметил, что может быть хорошим актером и что, вдобавок, обладает спокойным и уравновешенным характером. Он сам удивлялся своему таланту. Усвоив жаргон и поняв многие непонятные для него прежде выражения, он стал входить во все подробности жизни рабочего класса и чувствовал себя там, как дома. В предисловии к своей второй книжке «Рабочий» он говорил о том, что пытался поближе познакомиться с жизнью рабочего класса, а единственным средством для этого было работать вместе с ним, есть ту же пищу, забавляться его забавами и чувствовать его чувствами.

Фредди Друммонд не был глубоким мыслителем, он не верил в новые теории, все его нормы и критерии были условны. Его трактат о французской революции был известен в академических кругах не только как очень кропотливое исследование, но главным образом потому, что ничего более сухого, более мертвого и формального не было еще написано на эту тему. Однако, способности у него были большие, и волей он обладал твердой, как сталь. Друзьями он не мог похвастаться, так как был необщителен и сух по природе. У него не было никаких пороков и, казалось, он никогда не подвергался никаким искушениям. Он ненавидел табак, презирал пиво,

---

[1]) Специалист по языковедению, знаток языков.

и никто не видел, чтобы он выпил что-нибудь крепче столового белого вина. Когда он начинал свою карьеру, его более горячие товарищи прозвали его «Ледником». По окончании университета он стал известен под кличкою «Холодильник». Однако, в одной области и он был просто «Фредди»; это было, когда он играл в университетской футбольной команде, где проявил себя хорошим бэком[1]). Сокращенное имя за ним укрепилось, и это ему не очень нравилось. Он был таким «Фредди», когда не нужно было выступать в официальной роли, и ему часто снилось по ночам, что жизнь его идет под уклон, и весь мир называет его «Старый Фредди». Он был молод для доктора социологии; ему было всего двадцать семь лет, а на вид и того меньше. Его скорее можно было принять за великовозрастного студента, гладко выбритого, с элегантными манерами,—за простодушного здорового малого, известного своей физической силой, спокойного и хладнокровного, как все люди этого типа. Вне стен университета он не говорил о научных вопросах до тех пор, пока не сделался известным ученым и не стал снисходительно читать рефераты в различных литературных и экономических обществах. Все, что он делал, было правильно, даже слишком правильно. Он был корректен[2]) и в одежде и в обращении. При этом его нельзя было назвать дэнди. Он был типичным университетским человеком,—таких людей за последнее время вышло очень много из высших учебных заведений. Его рукопожатие было крепко; голубые глаза были достаточно холодны и достаточно откровенны. Его голос звучал твердо и мужественно, и произношение было у него безукоризненно правильное и приятное для слуха. Единственным недостатком Фредди Друммонда была его необычайная сдержанность. Он никогда не распускался. Даже во время футбольных состязаний чем напряженнее становилась игра, тем хладнокровнее становился он. Он был хорошим боксером. Его называли автоматом, до такой степени точны были все его расчеты при нападении и при защите. Его редко побеждали, но и сам он редко побеждал. Он был слишком умен и осторожен, чтобы позволить себе излишний риск. На каждое состязание он смотрел просто как на хорошую тренировку.

С течением времени Фредди Друммонд стал все чаще переходить черту и исчезать к югу от Базарной улицы. Здесь он проводил и летние и зимние праздники. И всегда находил, что провел время с пользой и приятностью. А материала для наблюдения там, в самом деле, представлялось немало. Его третья книга «Масса и хозяин» сделались своего рода евангелием в американских университетах.

---

[1]) Ближайший к воротам защитник (при игре в футбол).
[2]) Корректный — вежливый, сдержанный.

А сам он в это время уже сидел над своей четвертой книгой— «Уловка бессильного».

Однако, он чувствовал в себе странную раздвоенность. Быть может, это было смутным протестом против полученного им воспитания, условностей и привычек, унаследованных от предков. Как бы то ни было, он находил большое удовольствие в своих скитаниях по рабочему кварталу. В своей среде он слыл «Холодильником», но там, среди рабочих, он был «Верзила Билль Тоттс», который пил и курил, чертыхался, дрался и видел вокруг дружеские улыбки. Все любили Билля, и многие девушки из работниц ласково поглядывали на него. Вначале он был просто хорошим актером, но потом как бы нашел здесь свою вторую натуру. Он уже не притворялся, что любит, а действительно любил дешевые сосиски и колбасу, хотя в своем родном кругу он не переносил этой пищи.

Начав делать все это с определенной целью, Друммонд затем полюбил эту жизнь, и для него уже стало тяжело и неприятно возвращаться в свой чопорный ученый кабинет. Он заметил, что с нетерпением ожидает того момента, когда можно будет снова перейти черту и опять превратиться в компанейского малого. Он однако вовсе не был повесой, как «Верзила Билль Тоттс»; тот проделывал тысячи таких вещей, на которые никогда не решился бы Фредди Друммонд. Фредди Друммонду они бы даже никогда не пришли в голову; это и было самое удивительное. Фредди Друммонд и Билль Тоттс были совершенно различными людьми. Желания, поступки и настроения одного были диаметрально противоположны поступкам и настроениям другого. Билль Тоттс без всяких угрызений совести лодырничал во время работы, тогда как Фредди Друммонд клеймил лодырничанье, как величайшее преступление, недостойное американца, и посвящал этому вопросу громоподобные главы. Фредди Друммонд никогда не помышлял о танцах, но Билль Тоттс не упускал случая поплясать в какой-нибудь «Магнолии» или «Западной Звезде». Он даже получил большой серебряный кубок, в тридцать дюймов высотою, за костюм на одном из клубных маскарадов Союза Мясников. Кроме того, Билль Тоттс любил поболтать с девушками, и они не отвергали его, тогда как Фредди Друммонд изображал из себя аскета, ненавидел суффражисток [1]) и цинически-ядовито осуждал совместное образование.

---

[1]) Суффражистки (по-английски — Suffrage — голос, избирательное право) — сторонницы предоставления женщинам избирательных прав. В Англии суффражистки, чтобы привлечь к вопросу предоставления женщинам избирательных прав общественное внимание, прибегали к уличным выступлениям и беспорядкам (избивали полисменов, разбивали стекла в магазинах и т. п.), чем вызвали возмущение „благомыслящих“ кругов буржуазного общества.

Фредди Друммонд с удивительной легкостью менял свои манеры вместе с платьем. Он входил в маленькую комнатку, в которой он обыкновенно переодевался, прямо и чопорно, плечи его были гордо откинуты назад, выражение лица надменное и холодное. Но одевшись в платье Билля Тоттса, он сразу становился другим человеком. Билль Тоттс не распускался, но его манеры делались простыми и изящными, даже звук его голоса изменялся, смех звучал громко и весело, речь становилась более красочной, и с его уст срывалось подчас крепкое ругательство. Билль Тоттс по вечерам любил засиживаться в кабачках, где среди своих товарищей—рабочих—держал себя добродушно, а иногда воинственно, не уклоняясь от потасовок. Возвращаясь с воскресных пикников, он очень непринужденно обнимал за талию своих спутниц, и видно было, что он ухаживает за ними умело, как и подобает веселому парню из рабочей среды.

Билль Тоттс был настоящим рабочим южной части города и был вполне проникнут самосознанием рабочего класса, а штрейкбрехеров ненавидел сильнее, чем кто-либо из членов союза. Во время большой «водяной забастовки» Фредди Друммонд был настроен весьма критически и хладнокровно мог рассуждать о ней, в то время как Билль Тоттс лодырничал и издевался над штрейкбрехерами. Билль Тоттс был преданным членом своего союза и справедливо негодовал на узурпаторов своих прав. «Верзила Билль» был такой здоровый и такой ловкий малый, что его пускали вперед во время всяких заворошек. Фредди Друммонд в своей новой роли научился понимать реальные обиды и искренно возмущался; но, вернувшись в университетскую атмосферу, он начинал хладнокровно обсуждать и взвешивать, как подобает ученому социологу. Фредди Друммонд отлично понимал, что у Билля Тоттса ограниченный кругозор, отчего он и не может подняться над уровнем своего класса. Билль Тоттс не знал этого. Когда он видел, что штрейкбрехеры отнимают у него работу, он попросту приходил в ярость. Фредди Друммонд, безукоризненно одетый, сидя на кафедре в социологической аудитории, созерцал Билля Тоттса и окружающую его среду и хладнокровно рассуждал о союзах и о штрейкбрехерах, сводя все эти вопросы к общей проблеме процветания Соединенных Штатов. Билль Тоттс ничего не видел дальше второго блюда за обедом или следующего состязания боксеров в атлетическом клубе.

Первое предупреждение о грозящей ему опасности Фредди получил, когда собирал материал для своей новой книги «Женщина и труд». В обоих мирах он пользовался слишком большим успехом. Та двойственность жизни, которую он для себя создал, была слишком необычайна, и однажды, сидя у себя в кабинете за работой,

он почувствовал, что не может больше выносить этой двойственности. Он дошел до такой точки, когда ему во что бы то ни стало нужно было сделать выбор между двумя мирами. Продолжать жить в обоих он уже не мог. Созерцая полки, уставленные книгами, среди которых видное место занимали его труды, начиная с диссертации и кончая последней книгой «Женщина и труд», он решил, что этот мир и есть мир, для него предназначенный. Билль Тоттс хорошо помогал ему, но его дальнейшее сообщество начинало становиться опасным. Билль Тоттс должен был исчезнуть.

Главной причиной опасений Фредди Друммонда была Мэри Кондон, председательница Международного Союза Перчаточниц, № 974. Первый раз он ее увидел с галлереи для зрителей, на ежегодном конгрессе Северо-Западной Федерации Труда. Увидал ее глазами Билля Тоттса, и на Билля Тоттса она произвела самое благоприятное впечатление. Но она отнюдь не была во вкусе Фредди Друммонда. Для него не могла иметь никакого значения ни ее статная фигура, ни поразительная гибкость, ни прекрасные черные глаза, вспыхивающие подчас огнем, ни заразительный смех. Он ненавидел женщин со слишком ярко выраженной жизненностью и с отсутствием... ну, скажем, самообладания. Фредди Друммонд признавал теорию эволюции [1]), потому что ее признавали все его университетские коллеги. И он допускал, что человек просто-напросто верхняя ступень в развитии животных организмов, потомок и высший результат длинной вереницы низших существ. Но он стыдился подобной генеалогии [2]) и предпочитал не думать о ней. Потому-то, вероятно, он и развил в себе железное самообладание, требовал того же от других и женщин предпочитал таких же, то-есть свободных от всего животного и чувственного и сумевших благодаря своей выдержке перейти через бездну, отделявшую их от существ низшего порядка.

Биллю Тоттсу были не по плечу подобные размышления, он полюбил Мэри Кондон с первого взгляда и тогда же решил узнать, кто она такая. В следующий раз он встретился с ней совершенно случайно, когда занимался перевозкой вещей, управляя фургоном Пата Морриса. Его послали в гостиницу на Посольской улице, чтобы взять оттуда на хранение сундук. Дочь хозяйки провела его в маленькую комнату, обитательница которой, перчаточница по профессии, была только что отвезена в больницу. Он взвалил себе на плечи тяжелый сундук и повернулся к выходной двери, как вдруг его остановил женский голос:

---

1) Теория эволюции или трансформизма — учение о превращении низших видов живых существ в высшие.

2) Генеалогия — систематическое собирание сведений о происхождении, преемстве и родстве.

— А вы состоите в союзе?

— А вам какое дело,—возразил он.—Ну-ка, подвиньтесь немножко, а то мне негде повернуться. Живо!..

В следующее мгновение, несмотря на свой рост и силу, он пошатнулся, так как его сильно толкнули, и сундук стукнулся о стену. Билль хотел выругаться, но, обернувшись, увидал сердитые черные глаза Мэри Кондон.

— Ну, разумеется, я принадлежу к союзу,—сказал он.—Я просто хотел подразнить вас.

— Покажите вашу карточку,—проговорила она деловым тоном.

— Она у меня в кармане, но я не могу достать ее,—этот дьявольский сундук мешает. Пойдемте вниз, я вам покажу карточку.

— Поставьте сундук на пол,—приказала она.

— Какого чорта! Говорю же я вам,—у меня есть карточка.

— Говорят вам, поставьте сундук, я не позволю ни одному штрейкбрехеру[1]) касаться до него. Как вам не стыдно! Здоровый детина отбивает хлеб у честных людей! Почему бы вам самому не записаться в союз и не стать честным человеком?

Краска залила ее лицо, и по всему было видно, что она вне себя от ярости.

— Этакий верзила изменяет своим же братьям. Вы, небось, мечтаете о том, чтобы поступить в милицию и чтобы во время следующей забастовки подстрелить кого-нибудь из товарищей-возчиков; а может быть, вы тайком уже служите в милиции, я вижу это по вашему лицу.

— Ну, нет, чорт побери!—воскликнул Билль, с грохотом ставя сундук на пол и вытаскивая из кармана карточку.—Я же вам говорил, что я вас только дразнил. Видите...

Это был, действительно, членский билет союза в полной исправности.

— Ну, хорошо,—сказала Мэри Кондон.—А в следующий раз не дразните.

Выражение ее лица смягчилось, когда она увидела, с какой легкостью Билль Тоттс взвалил себе на плечи огромный сундук. Загоревшимися глазами она оглядела его могучую мужественную фигуру; но Билль этого не заметил,—он был занят сундуком.

В следующий раз он увидел Мэри Кондон во время забастовки прачек. Прачки, недавно сорганизовавшиеся, были неопытны в этом деле и просили Мэри Кондон руководить забастовкой. Фредди Друммонд заинтересовался ходом этой забастовки и поэтому откамандировал Билля Тоттса на разведки. Билль работал в прачечной,

---

1) Штрейкбрехер — срыватель забастовки.

и в одно утро мужчины были мобилизованы для оказания помощи девушкам. Билль случайно оказался возле двери катального помещения, когда Мэри Кондон хотела войти туда. Управляющий—здоровый и плотный человек—загородил ей дорогу. Он вовсе не желал, чтобы его девушек снимали с работы, и хотел отучить ее вмешиваться в чужие дела. Когда Мэри Кондон все-таки хотела проскользнуть в помещение, он оттолкнул ее своими жирными руками. Она обернулась и увидала Билля.

— А, мистер Тоттс,—сказала она.—Помогите мне войти туда.

Билль был приятно удивлен, что она запомнила его имя по его членскому билету; в следующее мгновение управляющий отлетел в сторону, а прачечная вскоре опустела. Во все продолжение этой короткой и удачной забастовки Билль сопровождал повсюду Мэри Кондон словно верный адъютант. Но вернувшись в университет, Фредди Друммонд недоумевал, что мог он найти в этой женщине.

Фредди Друммонд был вне опасности, но Билль Тоттс влюбился по уши,—факт, с которым нужно было считаться, и он-то послужил Фредди Друммонду первым предостережением. Работа подходила к концу, стало быть, следовало прекратить авантюру, не было больше никакой надобности переходить черту. В книге «Тактика и стратегия труда» оставалось написать две-три главы, но и для них материала было вполне достаточно.

Другим важным соображением оказывалось следующее: чтобы окончательно утвердиться в роли Фредди Друммонда и встать, наконец, на якорь, ему необходимо было теснее сблизиться с людьми его собственного круга. Он решил, что ему пора жениться; к тому же он был уверен, что если не женится Фредди Друммонд, то не замедлит это сделать Билль Тоттс, а последствия такого брака будут весьма и весьма плачевны. Так в его жизнь вошла Катерина ван-Ворст. Она окончила университет, а ее отец был членом факультета и деканом философского отделения. Брак этот представлялся разумным со всех точек зрения, и Фредди Друммонд был весьма доволен, когда предложение его приняли, и помолвка была объявлена. Холодная и сдержанная, аристократически-консервативная Катерина ван-Ворст не уступала в самообладании самому Фредди Друммонду.

Все как будто обстояло благополучно, но Фредди Друммонд никак не мог отделаться от желания снова пожить той свободной и безответственной жизнью, с которой познакомился по ту сторону черты. Когда приблизилось время свадьбы, он ясно понял, что в нем крепко засели корешки других привычек, и ему снова захотелось хоть на миг превратиться в того веселого малого, прежде чем окончательно погрузиться в кабинетную науку и в спокойную семейную жизнь. Как раз подвернулся и предлог: оставалась незаконченной

последняя глава его нового труда, для которой требовались кое-какие материалы, которые он не успел собрать.

Поэтому Фредди Друммонд еще раз превратился в Билля Тоттса, собрал все, что ему было нужно, но, к несчастью, встретил Мэри Кондон. Вернувшись снова в свой кабинет, он с неудовольствием вспомнил об этой встрече. Предупреждение было вдвойне знаменательно. Билль Тоттс вел себя предосудительно,—он не только встретил Мэри Кондон в Рабочем Совете, но, провожая ее домой, зашел с нею в ресторанчик и угостил ее устрицами, а у двери ее дома крепко обнял ее и несколько раз поцеловал в губы. Ее последние слова прозвучали в его ушах нежно и ласково: «Билль, милый Билль!»

Вспоминая об этом, Фредди Друммонд содрогался и чувствовал, что у ног его разверзается бездна. Он по природе не был многоженцем, и его не на шутку тревожило создавшееся положение. Надо было положить конец раздвоению. А для этого было два исхода. Или он должен полностью превратиться в Билля Тоттса и жениться на Мэри Кондон, или он должен оставаться только Фредди Друммондом и жить в честном браке с Катериной ван-Ворст; иначе его поведение было бы ужасно и недостойно порядочного человека.

В течение следующих месяцев Сан-Франциско сотрясался всяческими забастовками. Союзы рабочих и ассоциации предпринимателей вели ожесточенную борьбу и, повидимому, твердо решили раз навсегда выяснить положение. Но Фредди Друммонд просматривал свои корректуры, читал лекции и ни во что не вмешивался. Он всецело посвятил себя Катерине ван-Ворст и с каждым днем восхищался ею все больше и больше—мало того, он начинал любить ее. Забастовка возчиков взволновала его меньше, чем он думал; к стачке мясников он отнесся совершенно равнодушно. Призрак Билля Тоттса окончательно рассеяло, и Фредди Друммонд с новой энергией уселся за давно обдуманную им брошюру «Уменьшающиеся доходы».

До свадьбы оставалось две недели, и вот однажды Катерина ван-Ворст заехала за ним и предложила ему, пользуясь хорошей погодой, поехать осмотреть «Клуб для подростков», устроенный Обществом Рабочих Поселков, в котором она принимала деятельное участие.

Автомобиль принадлежал ее брату, но они ехали вдвоем, если не считать шоффера. Базарная улица и Джири-Стрит при слиянии образуют острый угол в виде V. Они ехали на автомобиле по Базарной улице, намереваясь завернуть за угол и поехать по Керни-Стрит. Но они не знали, что ожидает их на этой улице. Хотя они читали в газетах о забастовке мясников, но Фредди Друммонд, по правде говоря, совершенно забыл о ней. Разве мог он помнить об этом, сидя рядом с Катериной? А кроме того, он с увлечением

излагал свои взгляды на рабочие поселки,—взгляды, которые он без помощи Билля Тоттса не сумел бы так ловко формулировать.

Навстречу им двигались шесть фургонов с мясом; рядом с каждым возчиком сидел полисмен, а спереди и сзади шел отряд из сотни полисменов: возчики были штрейкбрехерами. Вслед за полисменами шла толпа в довольно стройном порядке, но весьма горластая, запрудившая несколько улиц. Мясной Трест пытался снабдить мясом гостиницы и таким образом сорвать забастовку. Отель Ст.-Фрэнсис был уже снабжен ценою нескольких разбитых окон и голов, и теперь экспедиция отправлялась на выручку Палас-Отеля.

Фредди Друммонд, не обращая внимания на толпу, продолжал развивать Катерине свои взгляды, а шоффер уже собирался заворачивать за угол, как вдруг с Дерно-Стрит выехал огромный фургон, нагруженный углем, и загородил им дорогу. Возчик фургона задержал лошадей, и шоффер попытался проскочить наперерез фургону, несмотря на окрики полисмена, напоминавшего ему о правилах езды по городу.

Фредди Друммонд должен был прервать свою речь; он так ее больше и не возобновил, ибо события помчались с быстротою кинематографического фильма. Он слышал рев толпы и видел блеск касок полисменов, охранявших повозки. В этот самый миг возчик фургона с углем погнал лошадей наперерез двигающимся повозкам с мясом, затем резко осадил лошадей и затормозил фургон. После этого он привязал вожжи к ручке тормоза и уселся поудобнее, как человек, которому некуда торопиться. Автомобиль тоже принужден был остановиться.

Не успел шоффер дать задний ход, как сзади на автомобиль налетел другой фургон, управляемый старым ирландцем, в котором Фредди Друммонд сразу узнал Пата Морриса. Фредди Друммонд сам не раз управлял этим фургоном. Подъехали новые фургоны, подошел трамвай, и проехать уже не было никакой возможности. Вагоновожатый неистово звонил в колокольчик, мясные фургоны остановились, полиция попала в ловушку. Рев толпы все усиливался, и толпа в конце концов стала осаждать полисменов, которые пытались расчистить дорогу для фургонов.

— Вот мы и попались,—хладнокровно заметил Друммонд.

— Да,—столь же хладнокровно ответила его спутница,—какие они дикари!

Он с восхищением смотрел на нее: да, она была вполне в его вкусе; он бы не стал особенно упрекать ее, если бы даже она вскрикнула и прижалась к нему, но такое спокойствие было поистине великолепно. Среди этого бушующего моря голов она сидела так же спокойно, как при разъезде из театра.

Полиция старалась расчистить дорогу. Возчик фургона с углем, здоровенный малый, с засученными рукавами, набил трубку и сидел, спокойно покуривая. Он снисходительно слушал, как полицейский капитан осыпал его ругательствами, и в ответ пренебрежительно пожимал плечами. Издали донеслось характерное «трах-та-ра-рах»—удары дубинками по головам, раздались крики, вой, проклятия и стоны. Все увеличивающийся шум ясно показывал, что толпа, наконец, прорвала цепь полисменов и теперь стаскивала с козел штрейкбрехеров-возчиков. Полицейский капитан послал туда отряд, который начал теснить толпу. Между тем одно за другим стали открываться окна контор, расположенных в верхних этажах, и клерки, проникнутые классовым сознанием, стали выкидывать на головы полицейских разные предметы, попадавшиеся под руку. Корзины для бумаги, пресс-папье, чернильницы, пишущие машинки летели на улицу.

Один из полисменов, по приказанию капитана, забрался на угольный фургон, чтобы арестовать возчика. Тот спокойно и лениво поднялся, но затем вдруг схватил и швырнул полисмена прямо на капитана. Возчик был молодой гигант, и когда он взял в обе руки по здоровенному куску каменного угля, полицейский, вторично влезавший на фургон, раздумал нападать на него и спрыгнул на землю. Капитан приказал полдюжине полисменов атаковать фургон, но возчик перебегал из стороны в сторону и швырял в них куски угля.

Толпа на тротуарах поощряла возчика громкими криками и с восторгом наблюдала борьбу. Трамвайный вагоновожатый, колотивший полицейских тормозной рукояткой, был избит до полусмерти и стащен на мостовую. Полицейский капитан, вне себя от ярости, лично распоряжался осадою угольного фургона. Целая толпа полицейских осаждала эту своеобразную крепость, но возчик действовал с необыкновенной быстротой и энергией. По временам шесть или семь полицейских скатывались с фургона. Занятый отражением атаки с задней стороны, возчик, внезапно обернувшись, увидал, что капитан взбирался на фургон с передней стороны. Капитан висел еще в воздухе в неустойчивом положении, когда возчик запустил в него тридцатифунтовым куском угля. Он попал капитану прямо в грудь, тот полетел кувырком, ударился о колесо и упал возле автомобиля.

Катерина думала, что он убит; но он поднялся и полез обратно. Она протянула свою затянутую в перчатку руку и погладила одну из испуганных лошадей. Друммонд не заметил ее движения. Он весь был поглощен созерцанием осады фургона, а где-то там, в глубине его сложной психики, возникал и возвращался к жизни некий Билль Тоттс. Друммонд признавал необходимость поддержания существующего порядка и верил в закон. Но сидевший в нем дикарь ничего этого не признавал.

Фредди Друммонд в этот критический миг напряг всю свою железную волю, но в писании сказано, что дом, треснувший внутри, неминуемо должен пасть. И Фредди Друммонд чувствовал, как расползался он внутри и как сейчас распадется на две части, одна из которых звалась Биллем Тоттсом. Фредди Друммонд сидел в автомобиле совершенно спокойно рядом с Катериной ван-Ворст, но из глаз Фредди Друммонда уже выглядывал Билль Тоттс, а сам Друммонд наблюдал словно со стороны, как сражаются внутри за обладание его особой спокойный консервативный социолог и Билль Тоттс, сознательный рабочий, охваченный к тому же воинственным пылом. Билль Тоттс предвидел неизбежный исход битвы на угольном фургоне. Он видел, как на фургон забрался сначала один полисмен, затем второй, третий. Он видел, как они спотыкаются на угле и размахивают своими дубинками. Один удар пришелся возчику по голове, от другого удара он уклонился, но дубинка хватила его по плечу. Его игра была проиграна. Тогда он внезапно бросился, схватил двух полисменов в свои могучие объятия и вместе с ними, уже как пленник, шлепнулся на мостовую.

Катерина ван-Ворст едва не упала в обморок при виде крови и грубой драки, но ее волнение было внезапно прервано самым необычайным и неожиданным образом. Сидевший рядом с ней человек издал дикий, нелепый крик и вскочил со своего места. Она видела, как человек этот перепрыгнул через переднее сиденье, оперся о низкий круп лошади и в мгновение ока очутился на фургоне. Он появился точно смерч. Прежде чем капитан, стоявший на верху повозки, мог угадать цель появления этого прекрасно одетого, но необычайно возбужденного джентльмена, он уже полетел на мостовую, сшибленный с фургона страшным ударом. Другой полисмен отправился вслед за ним с разбитой физиономией. Тогда трое других бросились на Билля Тоттса, осыпая его ударами дубинок, так что череп его затрещал, а рубашка, пиджак и жилет разлетелись в клочья. Но все три полисмена полетели на мостовую, а Билль Тоттс, стоя на фургоне, швырял в них углем.

Капитан доблестно кинулся в атаку, но кусок угля полетел в его голову, и капитан принял черное угольное крещение. Полиции было необходимо оттеснить блокаду спереди, прежде чем толпа порвет полицейскую цепь сзади, и Билль Тоттс задался целью удержать полицейских. Таким образом, битва у фургона продолжалась.

Толпа узнала своего чемпиона. Верзила Билль, как всегда, был впереди всех, и Катерина ван-Ворст с недоумением слышала крики: «Билль, эй, Билль!», доносившиеся со всех сторон.

Пат Моррисон в неистовом восторге прыгал и плясал на своем фургоне.

— Так их, Биль, так их, лопай их живьем!

Она слышала, как какая-то женщина на тротуаре закричала:

— Смотри, Билль, они сзади!..

Билль принял во внимание это предостережение и, оглянувшись, очистил с помощью угля эту часть фургона. Катерина ван-Ворст, быстро обернувшись, увидела на тротуаре женщину, черные пылающие глаза которой с восторгом смотрели на того, кто только что был Фредди Друммонд.

Из окон контор раздался гром аплодисментов. Стулья, столы и другие предметы посыпались на улицу с новой энергией. Толпа с одной стороны уже прорвала фронт, и теперь каждый полисмен был центром сражающейся группы. Штрейкбрехеров сбросили с их сидений; постромки лошадей были перерезаны, и испуганные животные бросились в бегство. Многие полицейские, спасаясь от опасности, забирались под угольный фургон, а другие, вскочив на лошадей, прочищали себе дорогу к Базарной улице.

Ван-Ворст снова услыхала голос той женщины, кричавшей:

— Улепетывай, Билль! Улепетывай, пора!

В этот миг полиция была оттиснута. Билль Тоттс воспользовался ее замешательством, прыгнул на мостовую и подошел к женщине, которая, к удивлению Катерины ван-Ворст, обняла его и поцеловала в губы. Катерина ван-Ворст с удивлением увидела, как он обнял женщину за талию, и оба они пошли вниз по улице, смеясь и разговаривая, при чем у него была такая развязная походка, которой Катерина ван-Ворст не знала и никак не предполагала.

Полиция возвратилась и очищала баррикады, ожидая прибытия новых лошадей и возчиков. Толпа, сделав свое дело, расходилась, а Катерина ван-Ворст все смотрела вслед тому, кого она привыкла звать Фредди Друммонд. Он был на голову выше всех, его рука продолжала обнимать за талию женщину. Сидя в автомобиле, Катерина ван-Ворст видела, как эта веселая пара пересекала Базарную улицу, перешла черту и исчезла в лабиринте рабочего квартала.

В течение следующих лет не слышали лекций Фредди Друммонда в Калифорнском университете. Книги по экономическим вопросам, носящие имя Фредерика А. Друммонда, также не появлялись. Зато появился новый рабочий лидер—Вилльям Тоттс. Это он женился на Мэри Кондон, председательнице Международного Союза Перчаточниц, № 974. Это он организовал знаменитую забастовку поваров и официантов, которая прошла с таким блистательным успехом и вовлекла в забастовку многие другие союзы, имевшие к Союзу Поваров и Официантов лишь косвенное отношение, например, Союз Куроводов и Союз Могильщиков.

ВРАГ ВСЕГО МИРА

Это Сайлэс Беннерман изловил, наконец, Эмиля Глюка, ученого чародея и архиненавистника человеческого рода. Исповедь Эмиля Глюка, которую он сделал, прежде чем сесть на электрический стул, проливает свет на многие таинственные события, волновавшие мир от 1933 до 1941 года. Только после опубликования всех этих замечательных документов мир узнал, что между убийствами португальского короля и королевы и убийствами чинов нью-йоркской полиции существовала самая тесная связь. Несмотря на весь ужас деяний Эмиля Глюка, мы не можем не чувствовать жалости к этому несчастному неудачнику и непризнанному гению. Эта сторона его биографии раньше не была известна, но благодаря его исповеди, а также благодаря целому ряду обнародованных фактов и документальных материалов мы можем составить себе ясное представление о его моральном уровне и понять, под влиянием каких факторов превратился он в конце концов в такое ужасное чудовище.

Эмиль Глюк родился в городе Сиракузах штата Нью-Йорк в 1895 году. Его отец—Иосиф Глюк—был полисменом и ночным сторожем и умер в 1900 году от внезапного удушья. Его жена—мать Эмиля—была кротким и хрупким созданием; до брака она была модисткой. Смерть мужа нанесла ей удар, от которого она уже не могла оправиться: она вскоре последовала за ним. Чувствительность матери по наследству передалась сыну, но его она сделала мрачным и озлобленным.

В 1901 году Эмилю (ему было тогда всего шесть лет) пришлось поселиться у его тетки Анны Бартель. Анна Бартель была сестрой его матери, но она не питала никаких нежных чувств к своему племяннику. Это была бессердечная, сухая женщина. К довершению всего, ее угнетала бедность, а муж ее, отъявленный бездельник, ничего не желал делать. Маленький Эмиль был для Анны Бартель лишней обузой, и она сумела дать ему это почувствовать.

Следующий случай может служить образцом того, что приходилось переживать несчастному мальчику.

Через год после того, как он поселился у Анны Бартель, он сломал себе ногу. Случилось это с ним в то время, когда он лазил по крыше. Лазить по крыше ему было, разумеется, строго запрещено, но ни один мальчик никогда не подчиняется подобным запрещениям. Нога была сломана в бедре. Эмиль, поддерживаемый своими приятелями, кое-как дошел до крыльца, где и упал в обморок. Все соседние дети сильно побаивались свирепой тетушки Эмиля, но в виду серьезности положения они решились позвонить и сообщили Анне Бартель о происшедшем. Она даже не посмотрела на несчастного ребенка, лежавшего на тротуаре, и, захлопнув дверь, продолжала свою стряпню. Пошел дождь, и Эмиль, наконец, пришел в себя. Ногой следовало заняться немедленно. Вследствие промедления нога воспалилась, и дело приняло серьезный оборот. Часа через два возмущенные соседки стали осыпать Анну Бартель упреками. Тогда она вышла посмотреть на мальчика, толкнула его ногой, в то время как он лежал совершенно беспомощный, и с истерическим плачем объявила, что отрекается от него. Она кричала, что это не ее ребенок и что карету скорой помощи может вызывать кто угодно. После этого она снова ушла в дом.

Одна из соседок—Елизавета Чепстоун—приняла участие в ребенке и положила его на носилки. Она вызвала врача, оттолкнула Анну Бартель и внесла ребенка в его комнатушку. Когда прибыл врач, Анна Бартель тотчас же объявила, что вовсе не намерена платить ему за визиты. В течение двух долгих месяцев маленький Эмиль пролежал в постели, при чем весь первый месяц никто не позаботился повернуть или оправить его при неподвижном лежании на спине. Он лежал одинокий и заброшенный, если не считать редких визитов перегруженного работой врача. У него не было ни одной игрушки, нечем было разогнать скуку медленно текущего времени. За все это время он не слыхал ни одного слова утешения, не видал ни одного ласкового взгляда. Он слышал только грубые упреки и ругательства, которыми осыпала его Анна Бартель, и бесконечные рассуждения на тему о том, что никто не просил его рождаться. Понятно, что несчастный, всеми забытый ребенок за это время накопил много горечи, и неудивительно, что впоследствии он решился на такие поступки, которые заставили содрогнуться весь мир.

Покажется странным, что Анна Бартель дала возможность Эмилю получить хорошее образование, но объяснялось это весьма просто. Ее никудышный муж бросил ее, отправился на золотые прииски в Неваду и скоро вернулся к ней миллионером. Так как Анна Бартель ненавидела мальчика, то она немедленно отправила его в Фаррестэдскую академию, находившуюся от них за сто миль. Робкий, чуткий, никем не понятый ребенок чувствовал себя совершенно

одиноким и в Фаррестэде. На праздники и на каникулы он никогда не ездил домой, как другие мальчики. Вместо этого он бродил по огромному зданию академии или по саду, подружился с непонимавшими его садовниками и служащими и очень много читал. Он проводил целые дни среди полей или перед камином, уткнувшись носом в книгу. Он испортил себе глаза и принужден был носить очки, которые потом стали известны всему миру по фотографиям, помещенным в журналах 1941 года.

Уже студентом он обратил на себя всеобщее внимание. Он мог быть, когда хотел, необычайно прилежным, но он не нуждался в прилежании. Ему достаточно было перелистать книгу, чтобы сразу извлечь сущность. В результате, в течение полугода он перечитал больше, чем обычный студент перечитывает в течение шести лет. Четырнадцати лет он вполне был подготовлен—даже, по выражению одного из профессоров, «слишком хорошо подготовлен»—для поступления в какое-нибудь высшее учебное заведение, в роде, например, Харвардского университета. Но он был слишком еще молод для поступления туда, и вот в 1909 году он сделался слушателем исторического отделения колледжа в Боудойне. В 1913 году он блестяще окончил курс и с профессором Брэдлоу уехал в калифорнский город Бэркли. Профессор Брэдлоу был единственным другом, которого обрел Эмиль Глюк в течение всей своей жизни. Профессор Брэдлоу страдал катаром легких и поэтому принял предложение занять кафедру в Калифорнском университете, так как климат там был гораздо здоровее. В 1914 году Эмиль Глюк слушал в Бэркли специальный курс. В конце этого года две неожиданные смерти сыграли решающую роль во всех его планах и начинаниях. Смерть профессора Брэдлоу лишила его единственного друга. Смерть Анны Бартель оставила его без всяких средств к существованию. Ненавидя до самой своей смерти бедного юношу, она завещала ему всего сто долларов.

В следующем году, будучи всего двадцати лет отроду, Эмиль Глюк сделался преподавателем химии в Калифорнском университете. Годы текли спокойно. Он работал, получал жалованье и одновременно успел снискать себе с полдюжины разных ученых степеней. Он сделался, между прочим, доктором социологии и философии, хотя впоследствии он стал известен всему миру просто как профессор Глюк.

Ему было двадцать семь лет, когда в печати появилась его первая книга—«Пол и прогресс». Книга эта и до сих пор не потеряла своего значения, как замечательнейшее сочинение по истории и философии брака. Это был объемистый труд в семьсот страниц, написанный тщательно и умно и обличавший огромную эрудицию

автора. Книга предназначалась только для ученых, и Эмиль Глюк вовсе не собирался произвести ею сенсацию. Но в последней главе Эмиль Глюк высказал предположение о желательности заключения пробных браков. Эти три строчки были подхвачены газетами, и двадцатисемилетний профессор в очках был «разнесен на все корки», как тогда говорили, а фотографии его были, как курьез, помещены в иллюстрированных журналах. Над ним всюду смеялись, обвиняли его в проповеди безнравственных идей. В особенности много толковали о нем в женских клубах. Когда правительство решило взять на себя содержание Калифорнского университета, на съезде, созванном для обсуждения связанных с этим вопросом, постановлено было исключить Эмиля Глюка из состава преподавателей. Только при этом условии правительство принимало в свое лоно Калифорнский университет. Никто из его коллег не вступился за него, хотя никто из них не читал его книги. Они считали, что достаточно ознакомились с нею по сенсационным газетным статьям. С этого дня Эмиль Глюк возненавидел журналистов. Благодаря им его огромный шестилетний труд был оплеван, осмеян и смешан с грязью. До самой своей смерти, к глубокому их сожалению, он им не мог простить этого.

Следующее несчастье обрушилось на него тоже по вине газет. В течение пяти лет по напечатании своей книги он хранил молчание, а для одинокого человека молчать крайне вредно. Нельзя не посочувствовать тому ужасному одиночеству, среди которого жил Эмиль Глюк в стенах шумного и многолюдного университета. У него не было друзей, и он не пользовался ничьим расположением. Единственным его утешением были книги, и он читал неимоверно много. Но в 1927 году он согласился выступить в Эмервилле в «Обществе Человеческих Интересов». Он не доверял своим ораторским способностям; когда мы пишем эти строки, перед нами лежит черновик его речи. Это сухой, чисто научный доклад, можно даже сказать, консервативный доклад. Но в одном месте он поместил следующие слова, которые мы приводим буквально: «В обществе назревает промышленная и социальная революция».

Ловкий журналист вырвал из конспекта слово «революция», объяснил его по-своему и выставил Эмиля Глюка непримиримым анархистом. На другой же день во всех газетах профессора Глюка не называли иначе, как анархистом. В первый раз он пробовал возражать, теперь остался молчаливым. Но горечь продолжала накапливаться в его сердце. Университет потребовал, чтобы он написал опровержение; он угрюмо отказался и предпочел уйти из университета. Надо сказать, что на ректора и проректора было произведено очень сильное политическое давление.

Этот человек, никем не понятый и всеми затравленный, не пытался отомстить за себя. В течение всей своей жизни он ото всех видел обиды, при чем сам никого не обижал. Потеряв место и оставшись без заработка, он должен был искать себе работу. Он поступил в Союз Металлистов в Сан-Франциско, где проявил себя превосходным чертежником. Там он ознакомился впервые с конструкцией военных судов. Но репортеры и тут не оставили его в покое, начав высмеивать его новое призвание. Он сейчас же перешел на другое место. После того как журналисты заставили его переменить с полдюжины мест, он решил не обращать больше на них внимания. Это произошло в то самое время, когда он открыл в Оклэнде свою гальванопластическую мастерскую. В мастерской работало всего лишь трое взрослых и два мальчика. Глюк сам работал не покладая рук. Полисмен Кэрью утверждал, что в течение нескольких лет Эмиль Глюк ни разу не покидал мастерской раньше часа или двух ночи. За это время он усовершенствовал газовый мотор, взял на него патент и благодаря этому впоследствии стал богатым человеком.

Он открыл свою гальванопластическую мастерскую весной 1928 года. Около этого же времени он неудачно влюбился в Ирину Тэклей. Теперь трудно себе даже представить, что любовь такого человека, как Эмиль Глюк, могла быть обычной любовью. Не надо забывать, что этот гениальный, одинокий и мрачный человек не имел никакого понятия о женщинах. Все его желания носили необычайный характер; он и ухаживал как-то необыкновенно вследствие своей чрезмерной робости. Ирина Тэклей была красива, молода, но пуста и легкомысленна. В то время она служила продавщицей в маленькой кондитерской, находившейся напротив мастерской Глюка. Он часто заходил в кондитерскую, пил прохладительные напитки и поглядывал на нее. Казалось, девушка не обращала на него никакого внимания. Она и не думала с ним кокетничать. Она называла его «чудным». Потом она стала называть его «чудаком» и рассказывала, как он смотрел на нее сквозь очки, краснел и потуплялся, когда она на него взглядывала, и часто, охваченный смущением, поспешно уходил из кондитерской.

Эмиль Глюк делал ей самые невероятные подарки. Он подарил ей серебряный сервиз, кольцо с брильянтом, меховой воротник, театральный бинокль, многотомную «Историю мира» и, наконец, мотоциклет, посеребреный в его мастерской. Но появился на сцене любовник девушки, остался недоволен всей этой историей и велел ей вернуть подарки. Этот любовник—Вильям Шербурн—был здоровенный, грубый малый из рабочей среды, сделавшийся мелким подрядчиком. Глюк ничего не понимал. Он попытался поговорить

с девушкой, когда она возвращалась домой со службы. Она пожаловалась Шербурну, и тот на другой вечер отколотил Глюка. Это было очень жестокое избиение, так как в записках местного отделения Красного Креста помечено, что доставленный со следами побоев Эмиль Глюк принужден был пробыть в госпитале неделю.

Глюк попрежнему ничего не понимал. Он продолжал настойчиво требовать у девушки объяснения. Боясь Шербурна, он попросил у начальника полиции разрешения носить при себе револьвер. Ему это разрешение не было дано, но журналисты поспешили использовать этот факт для новой сенсации. И вот Ирина Тэклей была найдена убитой за шесть дней до ее свадьбы с Шербурном. Это случилось в ночь с субботы на воскресенье. Она в этот вечер засиделась в магазине до одиннадцати часов ночи и возвращалась со своим недельным жалованьем в кармане. Она проехала на трамвае всю улицу Сан-Пакю и сошла на Тридцать Четвертой улице. До дому ей оставалось пройти всего три квартала. Больше ее никто не видал живою. На следующий день труп ее был найден на одном из пустырей.

Эмиля Глюка немедленно арестовали. Ему было чрезвычайно трудно оправдаться. Собственно говоря, никаких действительных улик против него не было, но зато было очень много улик, состряпанных оклэндской полицией. Нет никакого сомнения в том, что почти все доказательства виновности Глюка были искусственно подтасованы. Показания капитана Шехэна были просто-напросто клеветой, ибо он не только не проходил мимо пустыря в момент совершения убийства, но даже, как выяснилось долго спустя, находился в эту ночь за городом, в Сан-Леандро. Несчастный Глюк был приговорен к пожизненному заключению, при чем газеты и публика единогласно порицали мягкосердие судей и требовали для него смертной казни.

17 апреля 1929 года Глюк был посажен в Сан-Квентинскую тюрьму. Ему было тридцать четыре года. В течение трех с половиной лет, проведенных им в одиночном заключении, он мог на свободе поразмыслить о человеческой несправедливости. За это время в его сердце созрела лютая ненависть к человеческому роду. За это же время он написал свой знаменитый трактат о человеческой морали, превосходную книгу под заглавием «Здоровый преступник», а также выработал свой ужасный и чудовищный план мести. На этот план его натолкнул один случай в его гальванопластической мастерской. Как он потом сам рассказывал, в тюрьме ему удалось обдумать все детали, и немедленно по выходе на свободу он мог приступить к осуществлению своего плана.

Его освобождение произвело настоящую сенсацию. Оно преступно оттягивалось бесконечной канцелярской волокитой.

1 февраля 1932 года некий Тим Хэзуэлл был тяжело ранен во время попытки к ограблению одного из жителей Пьедмонт-Хайтс. Тим Хэзуэлл три дня находился в агонии и за это время признался в убийстве Ирины Тэклей. Он представил веские доказательства. Бэрт Дэкникер, умирающий от чахотки в Фольсомской тюрьме, был его сообщником. Показания обоих совпали. Мы теперь совершенно не можем себе представить, до какой степени медленно совершалось тогда судопроизводство. В феврале была доказана невиновность Эмиля Глюка, но только в октябре он был выпущен на свободу. В продолжение восьми месяцев этот человек, несправедливо наказанный, должен был продолжать нести свое наказание. Конечно, это не могло смягчить его сердце, и легко себе представить, до какой степени обострилась за это время его вражда к людям.

Вернувшись в мир осенью 1932 года, он сразу сделался излюбленной темой газетных бумагомарателей. Вместо того, чтобы выразить ему сочувствие по поводу незаслуженного наказания, газеты продолжали свою прежнюю травлю. В особенности постарался в этом отношении «Вестник Сан-Франциско». Издатель газеты Джэк Хартуэлл разработал сложную теорию по этому поводу, из которой выяснилось, что оба преступника дали ложные показания, а убил Ирину Тэклей все тот же Глюк. Хартуэлл умер. Умер и Шербурн, а полисмен Филиппс был ранен в ногу и должен был бросить службу в полиции.

Смерть Хартуэлла долгое время оставалась загадкой. Он сидел один в редакторском кабинете. Мальчик, дежуривший в конторе, услыхал выстрел, и, прибежав, увидел Хартуэлла, сидящего неподвижно в своем кресле. Он был мертв. Он был убит из собственного револьвера, лежавшего в ящике его письменного стола; револьвер этот почему-то выстрелил. Пуля пробила стенку ящика и глубоко проникла в тело Хартуэлла. Мысль о самоубийстве была отвергнута, и все обвинения пали на общество бездымного пороха «Эврика». Полиция решила, что патроны в револьвере взорвались сами собою, и потому химики, их приготовлявшие, были привлечены к ответственности. Но полиция не знала, что в момент смерти Хартуэлла, в доме, расположенном через улицу, в комнате № 633, находился не кто иной, как Эмиль Глюк.

В то время смерть Хартуэлла не была поставлена в связь со смертью Шербурна. Шербурн продолжал жить в доме, построенном им для Ирины Тэклей; и вот однажды утром, в январе 1933 года, он был найден мертвым у себя в комнате. Следствие единогласно установило самоубийство, так как его собственный револьвер, из которого был произведен выстрел, валялся тут же. В тот же самый день был при таинственных обстоятельствах ранен в ногу полисмен

Филиппс, стоявший перед домом Шербурна. Полицейский позвонил в полицию и вызвал скорую помощь. Он заявил, что кто-то выстрелил в него сзади. Пуля была тридцать восьмого калибра; в ране началось заражение, и ногу пришлось ампутировать. Но когда выяснилось, что он был ранен из своего собственного револьвера, то все стали над ним смеяться, и утвердилось предположение, что полисмен был просто пьян. Несмотря на его заверения и утверждения, что револьвер находился в кобуре, и что он к нему даже пальцем не прикасался, его все-таки уволили со службы. Признание Эмиля Глюка, восемь лет спустя, восстановило репутацию бедного полисмена, и он жив до сих пор, при чем получает от городского управления ежегодную пенсию.

Расправившись со своими ближайшими врагами, Эмиль Глюк стал расширять поле своей деятельности, при чем его ненависть к журналистам и полицейским ни на йоту не ослабевала. Его патент на воспламенитель для газовых моторов принес ему огромные доходы, и теперь он получил возможность путешествовать по всему миру и всюду удовлетворять свою чудовищную жажду мести... Он сделался своего рода маниаком—анархистом, но не анархистом-философом, а анархистом-террористом. Может быть, лучше его было бы назвать нигилистом, или даже архинигилистом, хотя он и не был связан ни с одной террористической группой. Он работал в одиночку, но террор, вызванный им, был в тысячу раз губительнее, чем могли бы это сделать все объединившиеся группы и партии анархистов-террористов.

Свой отъезд из Калифорнии он ознаменовал взрывом форта Мэзон. В своих последующих показаниях он назвал это «маленьким упражнением», своего рода «пробою пера». В течение восьми лет он путешествовал по миру, а рядом с ним шел таинственный террор, производя неслыханные разрушения, причиняя убытки на сотни миллионов долларов и уничтожая бесчисленные жизни. Единственным благоприятным следствием ужасной деятельности Глюка было разрушение, происшедшее в рядах террористов. После каждого его подвига полиция устраивала облаву на местных террористов, и многие из них были казнены. Семнадцать террористов были казнены в одном только Риме после убийства итальянского короля.

Наиболее сенсационным из деяний Глюка было, пожалуй, убийство португальской королевской четы. Это произошло в день их бракосочетания. Против террористов были приняты все возможные меры: улицы, примыкавшие к собору, были оцеплены двойной линией войск, а двести вооруженных всадников окружали карету. Внезапно произошло удивительное явление. Автоматические винтовки всадников, так же как и ружья пешей стражи, начали сами собой

стрелять. Во время суматохи ружья направились во все стороны. Последствия были ужасны. Люди, лошади, сам король и королева были изрешетены пулями. В довершение всего, за линией войск у многих террористов, стоявших в толпе, взорвались в карманах ручные бомбы. Эти бомбы они рассчитывали кинуть в короля, если бы представился удобный случай. Но разве можно было ожидать того, что произошло? Взрыв бомб вызвал полную панику; тогда предполагали, что это тоже входило в план нападения. Единственное, чего никак нельзя было объяснить, это поведение солдат и непроизвольные выстрелы их винтовок. Трудно было предполагать, что солдаты принимали участие в заговоре. Однако, от их пуль погибли сотни людей, и в том числе король и королева. Кроме того—и это уже окончательно запутывало все дело—около семидесяти процентов солдат было убито и ранено теми же пулями. Говорили, будто солдаты, преданные королю, стреляли в изменников. Впрочем, никто из уцелевших не мог ничего сказать на этот счет, хотя многие были даже подвергнуты пыткам. Все они как один утверждали, что никто из них не стрелял, и что винтовки стреляли сами собою. Химики с улыбкой говорили, что, пожалуй, мог взорваться случайно один патрон, но что нелепо было предполагать возможность такого множества самопроизвольных взрывов. Итак в конце концов этому удивительному факту не было дано никаких мало-мальски вероятных объяснений.

Весь мир сошелся на том, что виновата экспансивность южной толпы, которая, испугавшись взрывов двух бомб, произвела всю эту суматоху. По этому поводу вспомнили даже сражение, происшедшее когда-то между русским военным флотом и английскими рыбачьими судами.

А Эмиль Глюк посмеивался и продолжал свое дело. Он-то знал все! Но как остальной мир мог догадаться? Глюк случайно овладел этою тайною еще во время работ в своей гальванопластической мастерской в Оклэнде. Это случилось в то время, когда рядом с его мастерской была установлена станция радиотелеграфа, принадлежащая Турстонской Компании. Через несколько дней его гальванопластическая ванна вдруг испортилась. Эмиль Глюк тщательно исследовал ванну и нашел несколько спаек, явившихся следствием коротких замыканий. Но что могло вызвать эти короткие замыкания? Глюк сам очень скоро ответил себе на этот вопрос. До установления радиостанции его ванна работала исправно. После установки произошли спайки и короткие замыкания. Но почему? Он понял и это: если электрический разряд мог действовать на расстоянии трех тысяч верст по ту сторону океана, то ничего не было удивительного в том,

что он оказал воздействие на электрическую проводку, находящуюся на расстоянии каких-нибудь четырехсот футов.

Глюк не стал в то время об этом долго раздумывать. Он исправил ванну и продолжал заниматься своей работой. Но впоследствии, уже сидя в тюрьме, он вспомнил этот случай, и в голове его, как молния, блеснула одна мысль. Там, в одиночестве, изобрел он оружие для борьбы со всем миром. Его великое изобретение, умершее вместе с ним, заключалось в умении направлять электрический разряд. В то время это было неразрешенной проблемой радиотелеграфа. Проблема эта не разрешена и теперь. Только Эмиль Глюк сумел проникнуть в великую тайну. Проникнув в нее, он стал ею пользоваться. Ему ничего не стоило направить разряд в магазин винтовки, в револьверный барабан или в склад снарядов. Он мог не только взрывать, он мог и поджигать на расстоянии. Им был устроен огромный пожар в Бостоне,—правда, совершенно случайно. В своей исповеди он назвал это забавным происшествием и прибавил, что не жалел о случившемся.

Эмиль Глюк был истинным виновником ужасной германо-американской войны, которая унесла около восьмисот тысяч жизней и стоила таких огромных денег. Читатели, вероятно, помнят, что в 1937 году отношения между обоими государствами были очень натянутыми вследствие так называемого пиккардского инцидента. Германия, несмотря на свое недовольство, решила поддержать дружеские отношения и отправила эскадру из семи броненосцев, под командою кронпринца,—сделать визит Соединенным Штатам. В ночь на 15 февраля броненосцы эти стояли в Гудсоновом заливе против Нью-Йорка. В эту же ночь Эмиль Глюк выехал в море на своей моторной лодке. При нем находился и ужасный аппарат. Эту лодку, как было установлено впоследствии, он приобрел у «Росс Тернер Компании», а составные части своего аппарата на заводе «Колумбия». Но тогда никто этого не знал. И вот броненосцы начали взлетать через правильные четырехминутные интервалы. Девяносто процентов команды при этом погибло. Погиб и кронпринц. Когда много лет тому назад в Гавайском порту был взорван американский броненосец «Майне», то немедленно началась война с Испанией, хотя не была точно установлена причина взрыва. Можно ли было объяснить случайностью взрыв семи броненосцев в Гудсоновом заливе, да еще вдобавок через такие правильные интервалы? Германия решила, что взрывы произведены подводными лодками, и немедленно объявила войну. Только через шесть месяцев после признания Эмиля Глюка Германия нашла возможным вернуть Соединенным Штатам и Гавайские и Филиппинские острова.

Между тем Эмиль Глюк—этот страшный чародей и человеконенавистник—продолжал свою разрушительную деятельность. Он не оставлял за собою никаких следов. Он заметал их за собою по строго выработанным научным правилам. Обычно он снимал где-нибудь комнату и устанавливал свой прибор, который был прост и компактен и занимал очень мало места. Сделав свое страшное дело, он немедленно убирал аппарат. Он намеревался очень долго, в течение всей своей жизни, заниматься своей ужасной деятельностью.

Эпидемия саморанений среди нью-йоркской полиции в свое время вызвала немалую сенсацию. Это была одна из таинственнейших загадок того времени. В течение короткого времени больше дюжины полисменов были ранены из их же собственных револьверов. Инспектор Джонс не решил загадки, но все-таки ему первому удалось перехитрить Глюка. По его настоянию, полисмены перестали носить револьверы, и ранения прекратились.

Весною 1940 года Эмиль Глюк уничтожил морскую верфь Мэр-Айлэнд. Из комнаты, снятой им в Валехо, он послал электрические разряды в Мэр-Айлэндскую верфь. Прежде всего он направил удар на броненосец «Мэрилэнд», который стоял возле одного из минных складов. На палубе броненосца находилось около сотни мин. Эти мины были предназначены для защиты Гольден-Гэта[1]). Каждая из этих мин могла взорвать дюжину броненосцев, а таких мин находилось здесь около сотни. Разрушение произошло ужасающее, но это было только начало. Глюк направил свои огненные стрелы вдоль Мэр-Айлэндского берега, взорвал пять миноносцев и минные склады на восточной стороне острова. Затем, двигаясь в западном направлении, он взорвал и западные склады и еще пять броненосцев, из которых один стоял в сухом доке. Таким образом, и превосходный док был разрушен.

Катастрофа эта была так ужасна, что паника охватила всю страну. Но это было ничто в сравнении с тем, что произошло после. Осенью того же года Эмиль Глюк уничтожил все Атлантическое побережье от Мэйна до Флориды. Все было разрушено. Крепости, склады, заводы, минные заграждения—все взлетело на воздух. Через три месяца, зимою, он уничтожил таким же образом северное побережье Средиземного моря от Гибралтара до Дарданелл. Все нации испустили вопль ужаса. Ясно было, что все это—дело рук человека. Так как все страны страдали одинаково, то, очевидно, нельзя было обвинять в происходящем какое-нибудь одно государство. В такой же мере очевидно, что человеческое существо, производившее все

---

[1]) Гольден-Гэт — Золотые Ворота — пролив, ведущий в гавань Сан-Франциско.

эти разрушения, было равно опасно для всего мира. Ни одно государство не могло считать себя в безопасности. Не было никаких способов защититься от этого ужасного врага. Военные приготовления были бесцельны—нет, не только бесцельны, но они-то и были главной опасностью. В продолжение двенадцати месяцев пороховые заводы не работали, армии распались, и все солдаты и матросы были распущены. На Гаагской конференции серьезно обсуждался вопрос о всеобщем разоружении.

И вот в это-то время и прославился Сайлэс Бэннерман, агент тайной полиции Соединенных Штатов, вдруг арестовавший Эмиля Глюка. Сначала Бэннерман был осмеян, но ему вскоре удалось тщательно подобрать и сопоставить такие факты, которые убедили в виновности Эмиля Глюка самых отъявленных скептиков. Сайлэс Бэннерман никак не мог, впрочем, объяснить даже самому себе, каким образом у него впервые возникла мысль о виновности Эмиля Глюка. Правда, Бэннерман находился в Валехо во время взрывов на Мэр-Айлэнде, и ему указывали на улице на Эмиля Глюка как на забавного чудака. Но это тогда не произвело на него никакого впечатления. Только много времени спустя, отдыхая на одном из горных курортов и читая в газетах о разрушении Атлантического побережья, Бэннерман вдруг подумал о Глюке. Словно внезапная молния озарила его голову, и он вдруг сочетал все эти взрывы с личностью Эмиля Глюка. Правда, то была лишь гипотеза, но и гипотезы было достаточно. Эта догадка осенила его так же внезапно и без всякой предварительной подготовки, как Ньютона осенила мысль о всемирном тяготении.

Остальное было не так уж трудно. Надо было выяснить, где находился Глюк во время разрушения Атлантического побережья. Этот вопрос больше всего интересовал Бэннермана. Он сам предложил свои услуги по расследованию дела. Ему удалось установить, что осенью 1940 года Глюк путешествовал вдоль Атлантического побережья. Выяснилось также, что Глюк находился в Нью-Йорке во время эпидемии самоpанения полицейских. Где же находится Глюк теперь?— спросил себя Бэннерман. И, как бы в ответ на этот вопрос, пришло известие о взрывах на Средиземном море. Бэннерман знал, что несколько недель назад Глюк уехал в Европу. Бэннерману не нужно было даже ехать туда самому. По телеграфу он собрал все нужные ему сведения и выяснил, что Глюк ездил вдоль северного побережья Средиземного моря. Он узнал также, что в настоящее время Глюк возвращается в Америку на пароходе «Плутоник», принадлежащем «Грин-Стар-Лайн».

Для Бэннермана дело было вполне ясно. Теперь оставалось только выяснить некоторые детали. Ему помогал в этом Джордж Броун,

телеграфист, работавший на телеграфной станции системы Вуда. Когда «Плутоник» подходил к берегам Америки, Бэннерман выехал ему навстречу на полицейском катере и арестовал Эмиля Глюка. На суде Эмиль Глюк во всем признался. Он только выразил сожаление, что слишком мало успел сделать. По его словам, он никак не подозревал, что его деяния могут быть обнаружены, иначе он вел бы себя осторожнее и действовал бы быстрее, чтобы произвести разрушение в тысячу раз большее. Он унес с собою свою тайну, хотя, говорят, французское правительство предлагало ему за нее миллиард франков.

«Что?—сказал в ответ Глюк.—Вы хотите, чтобы я вам продал возможность поработить и мучить бедное человечество?..»

Все государства пытались открыть его тайну, работали специальные лаборатории, но все было напрасно. 4 декабря 1941 года Эмиль Глюк был казнен на сорок шестом году от рождения. Таким образом, погиб один из несчастнейших гениев, человек огромного ума, великое дарование которого было так извращено, что он сделался страшнейшим преступником вместо того, чтобы посвятить себя служению человечеству.

(Извлечено из книги мистера А. С. Борнсайда «Необыкновенные преступники», с любезного разрешения издательства «Холидэй и Уитсэнд».)

МЕЧТА ДЕБСА

Я проснулся по крайней мере на час раньше обыкновенного. Это само по себе было уже очень странно, и, размышляя об этом, я пролежал в постели около часа. Я не знал, в чем дело, но чувствовал, что не все обстоит благополучно. Меня томило предчувствие чего-то ужасного, что уже произошло или должно было произойти. Но что же это было? Я старался дать себе отчет в своих ощущениях. Я вспоминал, что после землетрясения 1906 года многие рассказывали, как они проснулись за несколько минут до первого толчка с чувством безотчетного ужаса. Неужели опять Сан-Франциско постигнет такая же страшная катастрофа?

Я пролежал в ожидании несколько секунд, но не было слышно ни ударов, ни толчков, ни грохота падающих стен. Все было спокойно. И вдруг я понял. Тишина! Вот что томило меня. Я не слышал шума огромного города. В этот час трамваи проходили под моим окном каждые три минуты. Но вот прошло несколько минут, а трамваев не было слышно. «Не началась ли в городе забастовка трамвайных служащих,—подумал я,—или, может быть, на электрической станции произошла какая-нибудь катастрофа?» Но нет! Тишина была абсолютная. Не слышно было ни грохота повозок, ни цоканья копыт по гладкой мостовой.

Я нажал кнопку электрического звонка. Я, конечно, не мог услыхать звонок: он находился тремя этажами ниже. Но звонок, очевидно, действовал, так как через несколько минут вошел Броун с подносом и газетой в руках. Лицо его было, по обыкновению, бесстрастно, но в глазах его на этот раз сквозило какое-то беспокойство. Я заметил также, что на подносе не было сливок.

— Сливок сегодня не привезли, сэр,—сказал он,—и булок также.

Я снова поглядел на поднос и увидел, что на нем, вместо обычных свежих и румяных хлебцев, лежали черствые куски, оставшиеся от вчерашнего хлеба, вдобавок еще черного и неприглядного.

— Сегодня утром, сэр, ничего не было доставлено,—начал он; но я перебил его:

— А газета?

— Газета доставлена, но в последний раз, сэр. В газете написано, что завтра не будет уже никаких газет. Не прикажете ли купить сгущенного молока?

Я отрицательно покачал головой, сел пить кофе и развернул газету. С первых же строк я узнал, в чем дело. Я узнал даже больше, чем было в действительности, ибо газета была до глупости пессимистически настроена. В Соединенных Штатах разразилась всеобщая забастовка; высказывалось опасение за большие города, так как они могли оказаться без продовольствия.

Я бегло просматривал газету, вникая лишь в сущность дела и припоминая историю рабочих движений.

Всеобщая забастовка была мечтой целого ряда поколений, при чем мечта эта впервые возникла в голове у некоего Дебса, одного из виднейших лидеров, лет тридцать назад. Я вспомнил, что, еще будучи в университете, я написал для одного из журналов статью под заглавием «Мечта Дебса». С идеей этой я обошелся очень деликатно, вполне академически, считая ее мечтой и ничем больше. Мир продолжал развиваться: Гомперс сошел со сцены, так же как и Американская Федерация Труда, умер и Дебс со своими дикими мечтами, но его идея, однако, не умерла, и вот она осуществилась в действительности. Читая газету, я смеялся. Я знал, как обычно проваливаются все забастовки благодаря различным внутренним конфликтам. Вопрос шел о двух-трех днях. Правительство, несомненно, в несколько дней ликвидирует эту забастовку.

Я отшвырнул газету и начал одеваться. Мне хотелось побродить по улицам Сан-Франциско. Вероятно, любопытное зрелище должны были представлять эти улицы без единого экипажа, трамвая или автомобиля.

— Простите, сэр,—проговорил Броун, подавая мне портсигар,— но мистер Хармед желает переговорить с вами.

Хармед был мой старший лакей. Я заметил, что он был очень взволнован. Он сразу приступил к делу.

— Что мне делать, сэр? Нам нужно запастись провизией, а все поставщики забастовали. Электричество тоже не горит, по всей вероятности, и там забастовали.

— А магазины открыты?—спросил я.

— Только мелочные лавки, сэр. Приказчики не явились на работу, но хозяева с семьями пока что справляются.

— Сейчас же берите автомобиль и поезжайте за покупками. Купите все, что нам может понадобиться. Купите ящик свечей, или даже лучше полдюжины ящиков. А когда вы все сделаете,—скажите Гаррисону, чтобы он заехал за мной в клуб к одиннадцати часам, никак не позже.

Хармед покачал головой.

— Мистер Гаррисон забастовал по постановлению Союза Шофферов. А я не умею управлять автомобилем.

— Ха-ха, он забастовал!—воскликнул я.—Ну, хорошо, когда вы увидите «мистера» Гаррисона, скажите ему, чтобы он искал себе другое место.

— Слушаюсь, сэр.

— А вы, Хармед, случайно не принадлежите к Союзу Официантов?

— Нет, сэр,—ответил он,—и если бы даже я и принадлежал к этому союзу, я бы не покинул своего хозяина в такой критический момент.

— Благодарю вас,—сказал я,—все-таки собирайтесь: я сам буду управлять автомобилем, и мы сделаем достаточный запас провизии, чтобы выдержать осаду.

Был превосходный первомайский день. На небе ни единого облачка. Веял теплый ветерок. Сады благоухали. По улицам сновали автомобили; управляли ими сами хозяева. Толпы народа бродили взад и вперед, но все было совершенно спокойно. Рабочие, одетые в лучшее праздничное платье, мирно гуляли, наблюдая, какое впечатление производит забастовка. Все было так необычайно и вместе с тем так спокойно, что я почувствовал невольное восхищение. Мои нервы приятно взвинтились. Это было какое-то мирное приключение. Я встретил мисс Чикеринг, она сама управляла своим маленьким автомобилем. Она повернула руль, догнала меня на углу и воскликнула:

— О, мистер Корф! Вы не знаете, где можно купить свечей? Я объехала по крайней мере дюжину магазинов, но свечи повсюду распроданы. Это ужасно,—не правда ли?

Но ее сверкающие глаза не соответствовали словам. Ей, повидимому, все это доставляло большое удовольствие. Покупать свечи—ведь это было целое приключение! Мы объехали весь город и только тогда догадались поехать в южную часть, в рабочий квартал. Там в одной мелочной лавке еще не все свечи были распроданы. Мисс Чикеринг полагала, что одного ящика вполне достаточно, но я уговорил ее купить четыре. Сам я взял дюжину ящиков, так как автомобиль мой был достаточно вместителен. Нельзя было предвидеть, сколько времени продлится забастовка. Поэтому я нагрузил автомобиль мукой, консервами, сухими дрожжами и всякими предметами первой необходимости, на которые мне указывал Хармед, прыгавший и кудахтавший вокруг покупок, как старая наседка.

Интересно отметить, что в первый день никто не отдавал себе отчета, насколько серьезно было все происходящее. Заявление рабочих организаций, что они могут продержаться месяц и даже больше, было встречено всеобщим смехом. Но вскоре пришлось убедиться,

что рабочие не принимают никакого участия в покупках и не делают никаких запасов; это было вполне понятно: за несколько месяцев рабочие сделали себе огромные запасы всего необходимого, потому-то они и позволяли нам покупать провизию даже в своем квартале.

Только приехав в клуб и увидав царившее там смятение, я почувствовал тревогу. Для коктэйля кое-что нехватало, а сервировка была ниже всякой критики. Почти все посетители были не в духе и очень волновались. Меня встретил гул голосов. Генерал Фольсом сидел около окна в курительной комнате и отмахивался от шести-восьми возбужденных джентльменов, которые просили его что-нибудь предпринять.

— Что же я могу сделать, у меня нет никаких инструкций из Вашингтона; если вам, господа, удастся наладить телеграфное сообщение,—я готов буду сделать все, что мне прикажут. Но я не знаю, что можно тут сделать. Как только я узнал о забастовке, я немедленно поставил отряды солдат у всех общественных зданий, у банков, у почтовых контор и у Монетного двора, но ведь в городе не происходит никаких беспорядков. Забастовка протекает в полном спокойствии. Или вы хотите, чтобы я начал стрелять в рабочих, гуляющих с женами и детьми по улицам?

— Интересно, что делается на Уолл-Стрит?—с беспокойством спросил Джимми Уомбольт, когда я проходил мимо.

Я понял, почему он так волнуется: он был заинтересован в одном крупном консолидированном западном предприятии.

— Скажите, Корф,—остановил меня Аткинсон,—ваша машина в порядке?

— Да,—отвечал я,—а что случилось с вашей?

— Сломалась, а все гаражи закрыты. Моя жена около Трукки, и я боюсь, что она отрезана от суши. Я предлагал за телеграмму бешеные деньги, но ее все-таки не отправили. Жена должна была вернуться сегодня вечером. Я боюсь, что она умерла с голоду. Вы мне не дадите вашей машины?

— Но вы все равно не можете переехать через залив,—заметил Холлстэд.—Пароходы не ходят. Но вот что вы можете сделать. Попросите Роллинсона... Роллинсон, подите сюда на минутку! Аткинсон хочет перевезти через залив машину,—его жена застряла где-то около Трукки,—нельзя ли перевезти машину на вашей «Лурлетте»?— «Лурлетта» была двухсоттонная океанская яхта.

Роллинсон пожал плечами.

— Вы не найдете ни одного портового рабочего, чтобы погрузить машину. Да даже если бы ее и погрузили, то все равно это

бесполезно, потому что все мои матросы состоят в союзе и тоже бастуют.

— Но ведь моя жена умрет с голоду,—жалобно произнес Аткинсон.

В другом конце курительной компаты я увидел группу людей, которые оживленно и сердито толковали о чем-то, окружив Берти Мессенера. Берти доводил их до бешенства своими хладнокровными циническими рассуждениями. Его не слишком беспокоила забастовка. Его вообще мало что беспокоило. Он был необычайно самоуверен, по крайней мере во всех обычных житейских делах. Все низменное и обыденное не производило на него никакого впечатления. Он обладал капиталом в двадцать миллионов, вдобавок прекрасно помещенным, и никогда в жизни не занимался каким-либо производительным трудом, так как деньги достались ему по наследству от отца и двух дядей. Он побывал всюду, все испытал, кроме, разве, женитьбы. Он тщательно охранял свою свободу, несмотря на атаку сотен корыстолюбивых мамаш. В течение нескольких лет он был самой желанной добычей, но всегда ловко увертывался от своих преследовательниц. Он был, бесспорно, лучшим женихом. При всем своем богатстве, он был еще к тому же красив, молод и весьма благовоспитан. Он был превосходный атлет, сложенный, как молодой бог, и все делал с поразительным совершенством, кроме женитьбы. Он ни о чем не беспокоился, у него не было честолюбия, не было пылких страстей, не было даже желания сделать что-нибудь лучше других.

— Но ведь это восстание!—воскликнул кто-то. Другой назвал это революцией, а третий—анархией.

— Я этого не нахожу,—сказал Берти.—Мне пришлось пробыть все утро на улице. Везде полнейший порядок, я в жизни не видал такой организованной толпы. По-моему, напрасно вы произносите все эти громкие слова. Это просто настоящая общая забастовка, как это и было объявлено в газетах. Теперь, господа, ваше дело отыгрываться.

— Мы и отыграемся!—воскликнул Гарфильд, один из крупнейших миллионеров.—Мы покажем этим мерзавцам их настоящее место. Дайте только правительству взяться за это дело.

— А где сейчас ваше правительство?—возразил Берти.—Поскольку дело касается нас, оно могло бы с таким же успехом находиться сейчас на дне океана. Ведь вы же не знаете, что происходит в Вашингтоне! Вы даже не знаете,—существует правительство или нет.

— О, не беспокойтесь!—проворчал Гарфильд.

— Уверяю вас, что я нисколько об этом не беспокоюсь,—произнес Берти, улыбаясь,—но нам пока лучше обращать внимание на самих себя. Посмотрите-ка в зеркало, Гарфильд!

Гарфильд не стал смотреть в зеркало; но если бы он посмотрел, он увидал бы очень возбужденного джентльмена с красным лицом, с седыми волосами, прилипшими ко лбу, кривым и злым ртом и сверкающими глазами.

— Уверяю вас, что это не так,—сказал маленький Гановер; видно было, что он уже много раз произносил эти слова.

— Нет, Гановер, теперь это уже зашло слишком далеко,—возразил Берти.—Вы, господа, утомляете меня вашими спорами. Вы все стоите за свободную торговлю. Вы прожужжали всем уши своими бесконечными рассуждениями об этой самой свободной торговле и о праве человека распоряжаться своим трудом. В продолжение нескольких лет вы только об этом и говорили. Ничего нет дурного в том, что все рабочие примкнули к этой забастовке. Тут не попрано пока никаких законов—ни божеских, ни человеческих. Согласитесь со мной, Гановер. Вы сами всегда разглагольствовали о богом данном праве работать или не работать. Вам этой предпосылки не избежать. Конечно, все это весьма неприятно, но и только. Вы все время ездили на спинах рабочих; а теперь, когда рабочие сбросили вас, вы все запищали.

Все с негодованием стали утверждать, что никто никогда и не думал ездить на спинах рабочих.

— Нет, сэр,—вскричал Гарфильд,—мы все делали для рабочих! Мы не на спинах их ездили, а давали им возможность жить. Мы создавали для них работу. Куда делись бы рабочие, если бы не мы?

— Куча благодеяний!—усмехнулся Берти.—Вы ездили на спинах рабочих тогда, когда представлялся случай, и очень часто для того, чтобы этот случай представился, вы отклонялись от прямой дороги.

— Неправда!—раздались голоса.

— А помните, в Сан-Франциско была забастовка возчиков,—невозмутимо продолжал Берти.—Эту забастовку подстроила Ассоциация Хозяев. Вы прекрасно это знаете... Я посвящен в подробности этого дела, ибо в этих же стенах оно возникло и обсуждалось. Спачала вы вызвали забастовку, а потом, сговорившись с городским головой и с начальником полиции, вы ее сорвали. Трогательно было видеть, как вы, филантропы, подбивали возчиков на забастовку, а потом сели им на шею. Позвольте, я еще не кончил. Помните, в прошлом году в Колорадо голосами рабочих был поддержан на выборах кандидат. Он не был утвержден! Вы знаете, почему! Вы прекрасно знаете, каким образом добились этого ваши братья, филантропы и капиталисты Колорадо. Это был опять-таки случай поприжать рабочих. В течение трех лет вы продержали в тюрьме председателя Союза Горнорабочих, подстроив обвинение его в убийстве,

и добились того, что союз распался. Разве это не значит ездить на спинах рабочих? А троекратное отклонение прогрессивного подоходного налога? Вы утверждали, что это не соответствует конституции. А закон о восьмичасовом рабочем дне, который вы так блестяще провалили на последнем конгрессе? Но самым вопиющим из всех ваших поступков была борьба с профессиональными союзами. Вы ведь отлично знаете, как велась эта борьба! Вы подкупили Фарбурга—последнего председателя Американской Федерации Труда. Он был вашим ставленником,—ставленником всех трестов и ассоциаций хозяев, ибо всех их объединяла одна цель. Фарбург оказался предателем и сорвал забастовку. Вы добились того, что старая Американская Федерация Труда развалилась. Вы уничтожили Федерацию, но—чудаки—этим самым уничтожили и себя, ибо на смену Федерации возник М. Р. С. (Международный Рабочий Союз)—самая большая и прочная рабочая организация Соединенных Штатов. Вы виноваты в ее возникновении, а стало быть, вы виноваты и в сегодняшней забастовке. Вы вынудили рабочих вместо Федерации организовать М. Р. С., а М. Р. С. устроил эту забастовку. И вы еще будете утверждать, что вы никогда не прижимали рабочих! Ха-ха!..

На этот раз никто ничего не возразил. Один только Гарфильд пробормотал в свою защиту:

— Нас вынуждали обстоятельства. Приходилось отстаивать себя.

— Этого вопроса я не касаюсь,—ответил Берти,—меня только возмущает, зачем вы стонете теперь, испробовав вкус лекарства, приготовленного вами же. Вы уже не раз срывали забастовки, чтобы подчинить себе рабочих. Теперь рабочие выработали план, чтобы, в свою очередь, подчинить себе вас. Они желают, чтобы на службу принимали только членов профессиональных союзов, и если вы на это не согласитесь, вам придется умирать с голоду.

— Я полагаю, что вы сами пользовались всеми теми способами скрутить рабочих, о которых вы изволили только что упомянуть,—саркастически заметил Брентвуд, один из самых хитрых и желчных адвокатов.—Сообщники не лучше вора! Вы лично не прижимали рабочих, однако свою долю добычи вы все-таки получали.

— Ну, это к делу не относится,—протянул Берти.—Вы рассуждаете не лучше Гановера, когда ссылаетесь на моральный элемент. Я ведь не говорю, что хорошо, что плохо. Все это просто отвратительная игра; меня возмущает не то, что вы прижимали рабочих, а то, что вы теперь стонете и охаете! Совершенно верно, я пользовался всеми благами, полученными от эксплоатации рабочих,—спасибо вам, джентльмены,—сам при этом не ударяя палец о палец. Вы это сделали за меня, а сам я этим не занимался вовсе не потому, что я добродетельнее вас. Просто мой отец и почтенные

дядюшки оставили мне столько денег, что я мог без труда заплатить вам за эту грязную работу.

— Если вы хотите этим сказать...—воскликнул с горячностью Брентвуд.

— Тише, тише!—дерзко оборвал его Берти.—Нам нечего играть в невинность в этом воровском притоне. Это годится для газетных статей, для юношеских клубов и воскресных школ. Но, ради бога, не будем ломаться друг перед другом! Вы прекрасно знаете, и я знаю; и вы знаете, что я знаю, кто организовывал и срывал прошлой осенью забастовку строительных рабочих, кто за это получал деньги и кто наживался.—Брентвуд густо покраснел.—Все мы слеплены из одного теста, а поэтому отставим в сторонку вашу мораль. Я опять повторяю,—делайте свое дело, делайте его до конца, но только не ноите, когда вам приходится туго!

Когда я отошел от этой группы, Берти все еще продолжал их мучить, указывая на серьезность создавшегося положения и спрашивая их, каким образом они думают пополнить запасы продуктов, недостаток которых начинал уже чувствоваться. Встретив его после в передней, я предложил ему доехать до дому в моем автомобиле.

— Да, жестокий удар—эта всеобщая забастовка,—говорил он, когда мы пробирались сквозь толпу, весьма многочисленную, но сохранявшую полный порядок.—Это удар по нашему телу. Рабочие подстерегли нас, пока мы спали, и ударили по самому чувствительному месту—по желудку. Я хочу уехать из Сан-Франциско, Корф, и вам советую сделать то же самое. Отправляйтесь куда-нибудь в деревню, безразлично куда. Накупите съестных припасов и поселитесь в какой-нибудь хижине или шалаше. Уверяю вас, что скоро нам тут ничего не останется делать, как только подыхать с голоду.

Я никак не предполагал, что предсказания Берти Мессенера исполнятся с такой точностью. Тогда я просто решил, что он человек, склонный поддаваться панике. Мне, напротив, казалось очень интересным остаться в Сан-Франциско и наблюдать за суматохой. Расставшись с ним, я, перед тем как ехать домой, решил еще купить кое-какой провизии. К моему удивлению, оказалось, что те мелочные лавки, где мы покупали сегодня утром, распродали весь свой товар. Я отправился в Потреро, и там мне удалось купить еще один ящик свечей, центнер [1]) белой муки, пять центнеров ржаной (для прислуги), ящик мясных консервов и два ящика томатов. Предполагая, что в течение некоторого времени будет ощущаться острый недостаток в съестных припасах, я очень радовался, любуясь своими мешками и ящиками.

---

[1]) Центнер = 50,8 *кг.*

На следующее утро я выпил кофе, по обыкновению, в постели. Не только сливок, но на этот раз не было и газеты. Абсолютное неведение того, что происходит в мире, показалось мне самым тяжелым испытанием. В клубе я узнал кое-какие новости. Райдер приехал из Оклэнда в своей моторной лодке, а Холлстэд ездил в Сан-Джозе на автомобиле. Они сообщили, что положение там было не лучше, чем в Сан-Франциско. Всякая деятельность остановилась вследствие забастовки. Все мелочные лавки были целиком скуплены богатыми людьми. Всюду царил полный порядок. Но что происходило в других крупных центрах? В Чикаго? в Нью-Йорке? По всей вероятности, и там происходило то же самое. Но тот факт, что мы ничего не могли узнать точно, приводил нас в бешенство.

Кое-какие новости мог сообщить генерал Фольсом. В телеграфных конторах были поставлены на работу военные телеграфисты. Однако, провода оказались перерезанными по всем направлениям. Это был первый незаконный поступок рабочих. Генералу удалось снестись по радио с Беницией. Телеграфная линия до Сакраменто охранялась патрулями солдат. На несколько минут удалось соединиться с Сакраменто, но затем провода были перерезаны. Генерал Фольсом полагал, что подобные же попытки делались и всеми другими городами, но вряд ли можно было рассчитывать наладить связь. Его больше всего ужасала повсеместная порча проволоки; очевидно, это был план, заранее обдуманный рабочими, и теперь регулярно приводимый в исполнение. Он также очень сожалел, что правительству не удалось еще наладить сеть радиостанций, как это давно предполагалось.

Дни проходили, и пока что было очень скучно. Ничего особенного не происходило. Интерес к событиям слегка притупился. Улицы опустели. Рабочие не появлялись больше в городе, чтобы посмотреть, как мы переживаем забастовку; количество автомобилей на улицах сократилось: мастерские и гаражи были закрыты, и если какая-нибудь машина портилась, то она окончательно выходила из строя. Мой автомобиль тоже сломался, и ни за какие деньги нельзя было его починить. Теперь и мне пришлось пешком бродить по улицам. Сан-Франциско казался мертвым городом, и мы попрежнему не знали, что происходит в других городах. Но по собственному примеру мы могли заключить, что и другие города были столь же мертвы. Иногда по городу разбрасывались прокламации М. Р. С., отпечатанные, повидимому, несколько месяцев назад. Это было лишнее доказательство того, как тщательно подготовлялись к забастовке рабочие организации. Все детали были разработаны. До сих пор не произошло никаких эксцессов, если не считать расстрела солдатами лиц, уличенных в порче проводов. Но в бедных кварталах люди начали голодать и волноваться.

Деловые люди, миллионеры и люди свободных профессий устраивали заседания и выносили резолюции, но не было никакой возможности обнародовать эти резолюции, их даже нельзя было напечатать. Единственным конкретным результатом этих совещаний было то, что генерал Фольсом занял отрядами войск все оптовые склады муки, зерна и другого продовольствия; это было сделано как раз вовремя, так как недостаток провианта начал уже ощущаться даже в наиболее богатых домах.

Мои лакеи ходили с вытянутыми физиономиями и опустошали мои запасы. Как я впоследствии узнал, они без всякого стеснения обворовывали меня, ибо каждый хотел сделать себе лишний запас провианта.

С образованием хлебных очередей начались новые волнения. Имевшегося в Сан-Франциско запаса муки не могло хватить надолго. У сорганизовавшихся рабочих были особые склады. Тем не менее все рабочие присоединились к хлебным очередям. В результате склады, захваченные генералом Фольсомом, стали пустеть с катастрофической быстротой. Как могли солдаты различать среди толпы—среднего горожанина, члена М. Р. С. и простого обывателя? Первые и третьи должны были получить муку, но солдаты не могли знать в лицо всех членов М. Р. С., а тем более их жен, дочерей и сыновей. Хозяева помогали в распознавании рабочих, и некоторые из забастовщиков, опознанные ими, были выгнаны из очередей, но это мало изменило положение. Дело приняло еще худший оборот, когда правительственные буксирные пароходы должны были прекратить доставку хлеба из военных складов, расположенных на островах, вследствие истощения запасов. Солдаты теперь получали в первую очередь пайки из конфискованных продуктов.

Несомненно, скоро должно было наступить начало конца. Насилие стало показывать свою рожу. Законы и правила были вдруг забыты, и забыты, нужно сознаться, не только низшими, но и высшими слоями населения. Только организованные рабочие продолжали соблюдать порядок. Это было понятно,—у них было чем питаться. Мне помнится, как в одно прекрасное утро, придя в клуб, я увидал Холлстэда и Брентвуда, которые о чем-то шептались между собой. Они посвятили меня в свой план. Автомобиль Брентвуда был еще в полной исправности, и они собрались ехать воровать коров. У Холлстэда был большой поварской нож и резак.

Мы поехали в предместье. Там и сям паслись коровы, но обычно владельцы их находились тут же. Продолжая свои поиски, мы выехали за город, и тут на одном пустыре нашли корову, охраняемую маленькой девочкой. Рядом с коровой пасся теленок. Мы не стали попусту тратить время. Девочка с плачем убежала, а мы принялись

резать корову. Я пропускаю различные подробности, потому что они слишком противны. Мы не привыкли к такой работе и исполняли ее очень плохо.

В самый разгар нашей работы мы услыхали крики и увидали нескольких человек, которые бежали к нам. Мы тотчас же бросили корову и пустились в бегство. К нашему удивлению, они и не думали нас преследовать. Оглянувшись, мы увидали, что все они набросились на корову,—они, оказывается, прибежали сюда с теми же намерениями, как и мы. Нам стало досадно, и мы решили вернуться. Происшедшая затем сцена едва поддается описанию. Мы дрались из-за коровы, как дикари. Брентвуд совершенно озверел. Он рычал, размахивал ножом и грозил убить того, кто отнимет его долю.

И мы получили бы нашу долю, если бы не произошло еще более неприятного инцидента. Внезапно появился отряд членов М. Р. С. Его привела маленькая девочка. Рабочих было очень много, и они были вооружены кнутами и дубинками. Девочка плакала от злости и кричала, обливаясь слезами:

— Задайте им хорошенько! Вот этому негодяю в очках, это он все наделал. Разбейте ему морду, разбейте ему морду!

«Негодяй в очках»—это был я, и мне, действительно, разбили морду, хотя у меня хватило присутствия духа снять поскорее очки. Ах, нас здорово избили! Брентвуд, Холлстэд и я кинулись удирать к автомобилю. У Брентвуда был в кровь разбит нос, Холлстэду раскровянили подбородок.

Убежав от преследователей и подойдя к автомобилю, мы увидали, что за ним спрятался испуганный теленок. Брентвуд велел нам смотреть, не идет ли кто, а сам бросился на теленка подобно тигру или волку. Нож и резак остались на поле битвы, но у Брентвуда были здоровые руки, и он катался с теленком по траве до тех пор, пока не задушил его. Мы положили тушу в автомобиль, накрыли ее своими пальто и поехали домой. Но случилось новое несчастие. У нас лопнула шина. Не было никакой возможности ее починить, и нам пришлось бросить машину. Брентвуд взвалил себе на плечо теленка, покрытого пальто, и понес его, кряхтя и ругаясь. Мы поочереди несли теленка и чуть не умерли от усталости. Вдобавок мы сбились с дороги. После целого часа скитаний мы наткнулись на шайку оборванцев. Они не были членами М. Р. С., но, к несчастью, они были так же голодны, как и мы. Во всяком случае, им достался теленок, а нам затрещины. Брентвуд по дороге домой бесновался как сумасшедший. В разорванном костюме, с разбитым носом и подбитым глазом, он производил жуткое впечатление.

После этого мы не пытались воровать коров. Генерал Фольсом приказал своим солдатам конфисковать всех коров, и теперь солдаты,

так же как и полицейские, главным образом, питались мясом. Генерала Фольсома нельзя было обвинять. Поддержание правового порядка было его основною обязанностью, а поддерживали порядок войска,—стало быть, их нужно было и кормить в первую очередь.

Приблизительно в это время началась страшная паника. Богатые люди первые устремились в бегство, а их примеру последовали и низшие классы. Население толпами покидало город. Генерал Фольсом был очень доволен. По подсчету, двести тысяч человек бежали из Сан-Франциско, а это значительно облегчало продовольственное положение. Я хорошо помню этот день. Утром я съел черствую корку хлеба. В полдень я пошел и встал в хлебную очередь. Вечером я вернулся домой, усталый и разбитый, получив порцию риса и кусок свиной грудинки. Броун встретил меня у дверей. Вид у него был печальный и испуганный. Он сообщил мне, что вся прислуга сбежала. Он остался в одиночестве. Тронутый его преданностью, я поделился с ним своей порцией, узнав, что он весь день ничего не ел. Мы сварили рис и грудинку, при чем съели только половину, а остальное оставили на завтра. Я лег в постель голодный и провел бессонную ночь. Утром оказалось, что и Броун покинул меня, вдобавок украв остатки риса и грудинки.

Общество, собравшееся в этот день в клубе, было весьма печально настроено. Прислуги не было. Она разбежалась. Пропало все серебро, и я узнал, что оно было украдено не прислугой, а самими членами клуба. Оказалось, что в рабочем квартале, к югу от Базарной улицы, на квартирах членов М. Р. С. можно было получить обед в обмен на серебро. Я тотчас же побежал домой. Увы, все мое серебро было украдено, за исключением массивного кубка! Я взял кубок и помчался в рабочий квартал.

Подкрепившись обедом, я снова отправился в клуб, чтобы узнать, нет ли чего-нибудь новенького. В дверях я столкнулся с Гановером, Коллинсом и Даконом, которые как раз собирались уходить. Больше в клубе никого не оставалось. Они собирались покинуть город, воспользовавшись для этого лошадьми Дакона. У Дакона было четыре прекрасных лошади, которых он хотел спасти, ибо генерал Фольсом предупредил его, что на следующий день все находящиеся в городе лошади будут конфискованы на мясо.

Лошадей в городе оставалось не очень много, так как десятки тысяч их были выгнаны за черту города, как только появилась первая трава. Мне помнится, что Бирдаль, имевший крупное ломовое предприятие, выпустил на свободу около трехсот лошадей. При средней стоимости каждой лошади в пятьсот долларов, это составляет сумму в сто пятьдесят тысяч. Он рассчитывал получить обратно хоть часть лошадей по окончании забастовки, на самом же

деле он, разумеется, потерял всех своих лошадей. Они были съедены людьми, бежавшими из Сан-Франциско. Для той же цели стали убивать лошадей и мулов, принадлежавших воинским частям.

К счастью, у Дакона был большой запас овса и сена. Мы раздобыли четыре седла и оседлали лошадей, хотя до сих пор они ходили только в упряжке. Когда мы проезжали по улицам, мне вспомнился Сан-Франциско во время великого землетрясения, но, несомненно, теперь город представлял еще более печальное зрелище. Стихийное бедствие причинило меньше ущерба, чем тирания рабочих союзов. Мы проскакали мимо театров, гостиниц, пустых и заброшенных магазинов. Улицы были пустынны. Там и сям стояли автомобили, покинутые владельцами вследствие порчи мотора или отсутствия бензина. Не было никаких признаков жизни, виднелись лишь фигуры солдат и полицейских, охраняющих банки и общественные здания. Нам повстречался один из членов М. Р. С., расклеивающий новые прокламации. Мы остановились и стали читать.

«До сих пор нам удалось сохранить полный порядок,—говорилось в прокламации,—и мы сохраним его до конца. Конец наступит тогда, когда будут удовлетворены наши требования; а требования наши будут удовлетворены, когда предприниматели будут вынуждены к этому голодом, подобно тому как голод до сих пор заставлял нас уступать им».

— Это то, что предсказывал Берти,—сказал Коллинс,—и, честное слово, я бы с радостью уступил им; но я боюсь, что они не дадут мне этой возможности. Я даже не помню, когда я был сыт. Интересно знать, какой вкус у лошадиного мяса?

Мы остановились и стали читать другую прокламацию.

«Когда мы узнаем, что наши хозяева готовы уступить, мы восстановим телеграфную связь между всеми крупными центрами, но мы будем передавать только известия, касающиеся условий примирения».

Мы проехали Базарную улицу и очутились в рабочем квартале. Улицы здесь не были пустынны, у дверей и у ворот сидели члены М. Р. С., оживленно беседуя между собой. Тут же играли веселые сытые дети, а дородные хозяйки сидели на ступеньках и сплетничали. Все с усмешкой глядели на нас. Дети бежали за нами и кричали:

— Эй, мистер, не голодны ли вы?

Какая-то женщина, кормившая ребенка, крикнула Дакону:

— Эй, толстяк, хочешь я угощу тебя картошкой, жареным мясом и чашкой кофе с белым хлебом?

— Вы обратили внимание,—сказал Гановер, обращаясь ко мне,—что на улицах совершенно не видно собак.

В самом деле, я до сих пор не обращал на это внимания; очевидно, мы уезжали как раз во-время. Нам, наконец, удалось выехать на дорогу в Сан-Бруно, по которой мы и направились на юг. У меня была дача близ Мэнло, и до нее-то мы и решили добраться. Но скоро оказалось, что за городом было гораздо хуже и опаснее, чем в городе. Там, по крайней мере, порядок охранялся солдатами и членами М. Р. С. А здесь царила полная анархия. Двести тысяч человек бежали из Сан-Франциско,—они прошли, уничтожив за собой все, подобно саранче. Кругом было пусто. Везде были видны следы грабежей и разбоев; там и сям валялись трупы и постоянно встречались обуглившиеся развалины ферм. Все изгороди были разломаны, посевы вытоптаны, огороды опустошены. Домашняя птица и скот съедены голодными ордами. Так обстояло дело на большой дороге, ведущей из Сан-Франциско. Кое-где в стороне от дороги фермеры были вооружены ружьями и револьверами, а потому они сохранили еще свое имущество. Они издали махали нам руками и отказывались с нами разговаривать. Во всем этом разрушении были одинаково виноваты и высшие и низшие слои общества. Только члены М. Р. С. спокойно сидели по домам, с кладовыми, набитыми продуктами.

В самом начале нашего путешествия мы могли убедиться, до какой степени печально общее положение. Вдруг в стороне от дороги раздались крики и выстрелы. Несколько пуль просвистело около нас. В кустах послышался треск, и на дорогу выскочила превосходная ломовая лошадь и понеслась по дороге. Мы успели заметить, что она была вся в крови и сильно хромала. За ней бежали три солдата. Они бежали за деревьями по левую сторону дороги. Солдаты перекликались между собой. Четвертый вышел на дорогу и, сев на землю, стал обтирать лицо.

— Милиция,—прошептал Дакон,—дезертиры...

Солдат усмехнулся и попросил спичек. На вопрос Дакона, в чем дело, он ответил, что милиция дезертировала.

— Нечего жрать,—сказал он,—кормят только регулярное войско.

От него мы узнали, что арестанты из Алькотраза были распущены, так как их нечем было кормить. Я никогда не забуду открывшегося нам зрелища. Оно сразу предстало нам за поворотом дороги. Кругом стояли развесистые деревья. Солнечные лучи пробивались сквозь их густую листву. Бабочки летали над травой, а в вышине раздавалось пение жаворонков. Тут же стоял большой автомобиль; вокруг него валялись трупы. Не трудно было угадать, что здесь произошло. Хозяева автомобиля пытались уехать из города и были перебиты бандитами. Это случилось, повидимому, не более суток назад. Кругом валялись пустые банки из-под консервов, объяснявшие причину убийства. Дакон осмотрел тела.

— Я так и думал,—сказал он,—я когда-то ездил в этом автомобиле; это—Перритон и все его семейство... Как бы нас не постигла такая же участь!

— Но ведь у нас нет с собою провианта,—заметил я.

Дакон молча указал на лошадей. Мы поняли, в чем дело, и помчались во весь дух.

Рано утром лошадь Дакона потеряла подкову. Нежное копыто треснуло, и животное сильно хромало. Дакон не хотел бросить лошадь; в то же время он не мог продолжать ехать на ней верхом. По его просьбе, мы продолжали путь одни. Он решил вести лошадь в поводу и встретиться с нами на моей даче. Больше мы его не видали, и никто не знает, как он погиб.

Около часа мы приехали в Мэнло,—вернее, на то место, где был некогда Мэнло. От городка остались одни развалины, и всюду валялись трупы. Торговая часть города представляла сплошное пожарище. Дачи были почти все уничтожены огнем. К уцелевшим нельзя было подойти. Когда мы приближались, в нас стреляли. Мы встретили одну женщину, которая разыскивала развалины своей дачи. Она рассказала нам, как голодная толпа грабила магазины и с яростью нападала на местных горожан. Милиционеры и бедняки с одинаковым рвением сражались из-за пищи, а потом отнимали ее друг у друга. Мы узнали, что Пало-Альто и Станфордский университет были разрушены при таких же обстоятельствах. Перед нами лежала разоренная, пустынная страна. Мы решили, что благоразумнее всего будет доехать до моей дачи. Она находилась в трех милях от Мэнло к западу среди холмов.

Но когда мы отправились дальше, мы сразу увидели, что разрушение не ограничилось большой дорогой. Волна беглецов захлестнула на своем пути и маленькие поселки. Все было уничтожено, и местность представляла огромный пустырь. Моя дача была построена из камня, а потому уцелела от пожара. Но внутри все было опустошено. Мы нашли в саду труп садовника, вокруг которого валялись расстрелянные ружейные патроны. Очевидно, он упорно защищался. Но двое моих рабочих-итальянцев, так же как и управляющий с женой, пропали бесследно. Все хозяйство было разгромлено. Не осталось ни жеребят, ни телят, ни домашней птицы.

Кухня, в которой беглецы, повидимому, готовили себе пищу, представляла в высшей степени плачевное зрелище. В саду остались следы от костров. То, что люди не могли съесть, они унесли с собой. Мы не могли найти ни одной корки хлеба.

Остаток ночи мы провели тщетно дожидаясь Дакона, а утром принуждены были с револьверами в руках отражать нападение шести-семи мародеров. Затем мы убили одну из даконовских лошадей.

Часть мяса мы съели, а остальное приберегли. В полдень Коллинс пошел погулять—и не возвратился. Это было ужасным ударом для Гаповера; он решил немедленно бежать, и я с трудом уговорил его остаться до утра. Что касается меня, то я был уверен в скором окончании забастовки и решил возвратиться в Сан-Франциско.

Утром мы отправились в дорогу, при чем Гановер с пятьюдесятью фунтами конины, привязанной к седлу, поехал на юг, а я с таким же вьюком—на север. Маленький Гановер остался жив, и я уверен, что до скончания жизни он будет всем надоедать рассказами о своих приключениях.

Я доехал только до Бельмонта, когда три милиционера отняли у меня мой провиант; они сказали мне, что положение становилось все хуже и хуже, что у М. Р. С. был огромный запас провизии, и они могли продержаться еще несколько месяцев. Я поехал дальше, но возле Бэдена на меня напали двенадцать человек и отняли у меня лошадь. Двое из них были полисменами из Сан-Франциско, а остальные десять—кадровыми солдатами. Это было дурным признаком. Очевидно, положение действительно ухудшилось, если даже солдаты начали дезертировать. Я отправился дальше пешком, а они разложили костер и прирезали последнюю из дакоповских лошадей. В довершение всего я вывихнул себе ногу и с трудом добрался до южной части Сан-Франциско. Всю ночь я пролежал в каком-то сарае, дрожа от холода и сильнейшей лихорадки. В этом сарае я принужден был проваляться двое суток, после чего, опираясь на самодельный костыль, кое-как добрался до города.

Я не ел трое суток и потому был очень слаб. Мне помнится, как во сне, что мимо все время проходили отряды регулярных войск и полицейские с семьями, шедшие, для безопасности, большими партиями. Придя в город, я вспомнил вдруг тот дом, в котором жила семья рабочего, накормившего меня обедом за серебряный кубок. Мучимый голодом, я направился туда; уже стемнело, когда я начал с трудом взбираться по лестнице. У меня закружилась голова, но я успел постучаться костылем в дверь, после чего, должно быть, потерял сознание. Я очнулся в кухне, кто-то обтирал мне лицо мокрым полотенцем и вливал в рот виски. Я стонал, задыхался и бормотал, что у меня нет больше серебряных кубков, но что я им впоследствии заплачу, если они меня накормят. Хозяйка перебила меня.

— Ах вы, бедняга,—сказала она,—разве вы не слыхали, что забастовка прекращена сегодня утром? Конечно, мы вас сейчас накормим.

Она начала хлопотать. Достала копченой ветчины, собиралась ее поджарить.

— Дайте мне скорее хоть один кусочек,—попросил я.

И с наслаждением уплетая ветчину, я слушал рассказ ее мужа о том, что все требования М. Р. С. удовлетворены. Телеграфное сообщение было уже восстановлено, и ассоциации хозяев всюду пошли на уступки. Так как в Сан-Франциско не оставалось больше предпринимателей, то за них поручился генерал Фольсом. С завтрашнего дня должны были начать ходить пароходы и поезда; жизнь восстанавливалась.

Так закончилась всеобщая забастовка. Мне бы не хотелось пережить ее вторично. Это куда хуже войны! Всеобщая забастовка—жестокое и безнравственное дело. И человеческий ум должен был бы научиться управлять промышленностью более достойным образом.

Гаррисон продолжает у меня служить шоффером. М. Р. С. потребовал, чтобы все служащие заняли свои прежние места. Броун ко мне не возвратился, но остальная прислуга вернулась и служит до сих пор. Я не мог сердиться на них за пропажу серебра и провианта,—в конце концов несчастные спасали свою жизнь.

Я тогда не решился отказать им, а теперь я уже не могу этого сделать, ибо все они—члены М. Р. С.

Тирания организованного труда превышает меру человеческого терпения. Нужно что-то предпринять.

МОРСКОЙ ФЕРМЕР

— Кажется, карантинный катер,—сказал капитан Мак-Эльрат.

Лоцман бормотал что-то, пока шкипер переводил подзорную трубу с лодки на берег, затем на видневшийся Кингстон, а оттуда на север, ко входу в Хоус-Хэд.

— Ну, что же, прилив хороший, через два часа будем на месте,— заявил лоцман, стараясь казаться веселым.

Шкипер проворчал сердито:

— Гнусный дублинский день!

И еще что-то ворчливо добавил. Он очень устал за эту ночь; ему пришлось, не смыкая глаз, все время простоять на мостике при сильном ветре, который обычно дует в этой части Ирландского канала. Он вообще очень устал за последнее время. Он мог отсчитать по своему корабельному журналу два года и четыре месяца—восемьсот пятьдесят дней, проведенных в плавании. За все это время он ни разу не был дома.

— Настоящая зимняя погода,—произнес он, помолчав.—Город еле виден. Наверное, весь день будет хлестать дождь!

Капитан Мак-Эльрат был маленький человек, и ему было очень удобно, стоя на мостике, выглядывать из-под брезентового навеса. Лоцман и третий офицер, так же как и рулевой, смотрели через него; рулевой был здоровенный немец, дезертировавший с военного судна, на которое он поступил в Рангуне. Но нехватка нескольких дюймов не мешала капитану быть превосходным моряком. Таково было, по крайней мере, мнение Компании, и, вероятно, так думал бы и сам капитан, если бы ему удалось заглянуть в свой послужной список, хранившийся в секретном архиве. Но Компания никогда даже не намекала капитану на свою уверенность в нем. Это не входило в расчеты Компании, которая очень легко прогоняла своих служащих, но никогда не хвалила и не поощряла их.

В конце-концов капитан Мак-Эльрат был только одним из восьмидесяти шкиперов, обслуживающих восемьдесят транспортных судов Компании, плававших в разных морях.

Внизу два китайца-истопника подавали завтрак на железных ржавых тарелках, которые молчаливо намекали на длинную историю морских испытаний. Один из матросов возился с канатом, тянувшимся к трапу от капитанской рубки.

— Тяжелое плавание,—подсказал лоцман.

— По временам трепало, но шли не так уж плохо; я терпеть не могу попусту терять время.

Сказав так, капитан Мак-Эльрат повернулся и стал смотреть по сторонам, и лоцман сразу понял немое, но ясное объяснение, на что терялось время.

Дымовая труба, выкрашенная в серую краску, казалась белой от покрывавшего ее слоя морской соли. Узкая труба свистка напоминала кристалл и ярко сверкала на солнце, вдруг выглянувшем из-за туч. Спасательной шлюпки не было, а железные балки, на которых она висела, были заметно согнуты,—очевидно, от удара или толчка, который пришелся на долю старого «Триапсика». Отсутствовала шлюпка и на правом борту; ее осколки лежали возле брезентового навеса, заменившего стеклянную крышу над машинным отделением. Дверь в кают-компанию была тоже разбита и наскоро заколочена досками для защиты от страшных волн.

— Я два раза говорил владельцам об этой мерзкой двери,— произнес капитан Мак-Эльрат.—Они отвечали, что и так сойдет. Но на этот раз разразилась такая бешеная буря, что дверь слетела с петель и упала прямо нам на обеденный стол, а заодно ветер разбил и каюту механика. Ему досадно было.

— Да, видно, было дело,—с участием заметил лоцман.

— Да еще какое! Пришлось нам повозиться. От этого и погиб мой помощник. Я не был вполне уверен в люке номер первый и велел ему осмотреть клинья. Я считал, что надо было поправить люк. В этот миг на нас обрушилась здоровенная волна; даже нам досталось на мостике. Я сначала и не заметил исчезновения помощника, потому что был очень занят снесенной дверью и прилаживанием брезента вместо разбитых стекол над машинным отделением, но затем мы нигде не могли его найти. По словам рулевого, он подошел к трапу в тот самый миг, когда волна покрыла нас. Мы искали его и в каютах, и в машинном отделении, и, наконец, нашли его труп на нижней палубе. Его разрезало пополам щитом паровой трубы. Он лежал по обе стороны трубы и щита.

Лоцман вздрогнул от ужаса и громко выругался.

— Да,—утомленно продолжал шкипер,—так он и лежал по обеим сторонам трубы, разрезанный как селедка. Очевидно, волна подхватила его на верхней палубе, пронесла через машинное отделение

и двинула башкой прямо о щит. Он так и разъехался, словно кусок масла. Как раз между глаз и во всю длину, так что одна его рука с потрохами валялась по одну сторону, а другая—по другую. Неприятно было на это смотреть. Мы сложили его, завернули в брезент и бросили в море.

Лоцман снова ругнулся.

— Ничего,—успокоительно сказал Мак-Эльрат,—большой потери нет. Это был никудышный моряк, из него бы вышел хороший свинопас, но зря он полез в море! Туда ему и дорога.

Существует три рода ирландцев: католики, протестанты и северные ирландцы; последние—те же шотландцы, только пересаженные на другую почву. Капитан Мак-Эльрат был родом из Северной Ирландии, и хотя он был в душе настоящим шотландцем, тем не менее он всегда приходил в ярость, когда его шотландцем называли. Он родился в Ирландии и намеревался до конца дней оставаться настоящим ирландцем, хотя нередко отзывался о жителях Южной Ирландии так же иронически, как о каких-нибудь гражданах Оранжевой Республики. Он был пресвитерианцем, хотя в той общине, где он жил, в церковь ходило всего пять человек. Он родился на острове Мак-Джилле, население которого из семи тысяч человек отличалось такой необычайной трезвостью, что на острове был всего лишь один полицейский, и совсем не было кабаков.

Капитан Мак-Эльрат не любил моря. Однако, ему пришлось всю жизнь зарабатывать себе хлеб морской службой, и море было для него своего рода мастерской, где он честно работал, подобно тому как другие работают на заводе, в лавке или в конторе. Романтика не волновала его своим голосом сирены [1]). Воображение у него отсутствовало, ничего таинственного для него не существовало. Бури, ураганы и шквалы были для него просто препятствиями, которые необходимо было преодолеть, больше они для него ничего не значили. Стоя на своем мостике, он чувствовал себя полным хозяином положения. Во время плавания ему встречались разные диковинки и чудеса, но он, в сущности говоря, ничего не видел. Перед ним мелькали яркие красоты тропических морей и ледяные туманы крайнего юга и крайнего севера, но он вспоминал о них постольку, поскольку они портили ему двери и палубу, и помнил одно: сколько лишнего угля пришлось ему истратить на эти длинные переходы и сколько краски было смыто неожиданными шквалами и ливнями.

— Я свое дело знаю,—говорил он обычно.

---

[1]) Сирена — мифическое чудовище, полуженщина-полурыба. Пленительным пением она будто бы завлекала корабли на рифы.

Все, что выходило за пределы его профессии, абсолютно его не интересовало. И хотя его глаза видели очень много чудесного, он все же не подозревал, что это существует на белом свете.

Директора Компании были уверены в том, что он знает свое дело, потому-то они и назначили его, хотя ему было всего сорок лет, капитаном «Триапсика», парохода, зарегистрированного в три тысячи тонн, а фактически с грузоподъемностью в девять тысяч, и оцениваемого в пятьдесят тысяч фунтов. Ему пришлось выбрать морскую профессию не потому, что он любил ее, но потому, что он был младшим, а не старшим сыном своего отца. Остров Мак-Джилль был очень мал, и пахотной земли хватало только на определенное количество жителей. Излишек населения, а он был довольно значительный, принужден был добывать себе пропитание морским промыслом. Так было заведено в течение нескольких поколений. Старшие сыновья обычно наследовали землю и ферму, а младшие отправлялись в море и скитались по всему миру. Поэтому Дональд Мак-Эльрат, сын фермера, был оторван от земли, которую он любил, и заброшен судьбою в море, которое он ненавидел и которое стало как бы его фермой. Он обрабатывал его в течение долгих двадцати лет. Трезвый, хладнокровный, прилежный и упорный, он прошел долгий путь от юнги до капитана парусного судна, а затем, перейдя на пароход, служил сперва младшим офицером, потом старшим и, наконец, капитаном, сначала маленьких судов, а затем постепенно дошел до рубки старого «Триапсика», правда, ветхого, но зато оцениваемого в пятьдесят тысяч фунтов и выдерживающего в бурю девять тысяч тонн груза.

И вот, стоя на мостике «Триапсика», он с этого высокого поста, достигнутого многолетним трудом и усердием, озирал лежавший перед ним Дублинский порт, окутанный туманом город и бесконечные мачты стоящих в гавани судов. Он возвращался домой после двух кругосветных путешествий и множества мелких рейсов, возвращался к своей жене, которую он не видал двадцать восемь месяцев, и к своему ребенку, которого он вовсе не видал, хотя тот уже ходил и говорил.

Внизу выстроились кочегары и палубная прислуга; все они толпились у дверей бака, как кролики в садке, в ожидании вызова доктора для осмотра. Это были по большей части китайцы, с плоскими, как у сфинксов, лицами и с неуклюжей походкой, словно башмаки были слишком тяжелы для их тощих ног.

Он глядел на них, совершенно их не замечая, и, держа руки у козырька фуражки, машинально играл прядью своих седых волос. Не видал он их потому, что они представляли лишь задний план сцены, на которой возникали совсем другие, мирные видения; эти

картины все носились перед ним в те долгие теплые ночи, когда старый «Триапсик» рассекал воды океана, заливавшего водой его палубу, гонимый ветрами, окутанный туманом и поливаемый беспрестанными ливнями. Он всегда видел перед собою маленькую ферму—дом с прилегающими к нему, крытыми соломою, строениями; он видел детей, весело играющих на пороге, и свою добрую жену, которая или доила корову, или кормила кур; он слышал, как в соседней конюшне, принадлежащей его отцу, стучали копытами и ржали лошади, видел расстилающиеся кругом поля, тщательно возделанные, простирающиеся до самого горизонта. Это была его любимая мечта, его роман, его приключение, венец всех его мечтаний, высшая награда за бесконечные морские скитания, за то, что он исходил все моря, избороздил все воды своим пароходом-плугом.

Этот человек по своей простоте и по своим природным склонностям был настоящим землевладельцем; его отцу было семьдесят один год, и он за всю свою жизнь ни разу не спал нигде, кроме своего родного дома на острове Мак-Джилле. Для капитана Мак-Эльрата эта жизнь казалась идеалом, и он удивился, как могут другие, без всякого принуждения, по собственной воле, бросать фермы и пускаться в плавание. Сам он так много путешествовал, что весь мир представлялся ему деревней, а сам он чувствовал себя в роде деревенского башмачника, сидящего в своей лавчонке. Перед его мысленным взором расстилались улицы в сотни миль длиною,—пожалуй, даже еще длиннее; он видел повороты, огибавшие опасные места или ведущие в тихие заливы и бухты; видел перекрестки, от которых одна дорога вела в страну цветов, в теплые моря, другая—к вечным туманам, страшным бурям, гибельным подводным рифам. Большие освещенные города представлялись ему как бы магазинами на этих улицах,—магазинами, где можно было возобновить запас угля, сдать груз, получить привет от лондонских хозяев, направиться еще куда-нибудь в поисках груза. Но вспоминать все это капитану было очень скучно, и если бы оно не служило для него источником существования, то не представляло бы решительно никакого интереса.

В последний раз капитан виделся со своей женой в Кардифе, двадцать восемь месяцев назад. Он тогда отплыл в Вальпарайзо с грузом угля в девять тысяч тонн, который и доставил благополучно до места назначения. Из Вальпарайзо ему пришлось порожняком плыть в Австралию: шесть тысяч миль при бурной погоде—не шуточное плавание. Оттуда он махнул—опять с углем—в Орегон—семь тысяч миль; потом с разным грузом—в Японию и Китай. Из Китая пришлось плыть на Яву, где погрузили сахар, предназначавшийся для Марселя. Из Марселя направились на восток и зашли в Черное море; затем с грузом марганца—в Балтимору; по дороге задержали

бури, и, чтобы пополнить запас иссякшего угля, пришлось завернуть на Бермуды; затем срочный фрахт в Норфольк, Виргинию, где он погрузил тайком контрабандный уголь, после чего отплыл в южную часть Африки, под наблюдением германского надсмотрщика, приставленного к нему по каким-то таинственным соображениям. Из Южной Африки он поплыл на Мадагаскар. При этом надсмотрщик высказал опасение, что русскому флоту может понадобиться уголь, и приказал делать не более четырех узлов в час. Бесконечная путаница, задержки, остановки, дипломатические осложнения и толки во всем мире о контрабанде старого «Триапсика». Затем—в японский военный порт Сассебо; оттуда—снова в Австралию; еще один срочный фрахт и смешанный груз, забранный в Сиднее, Мельбурне для доставки на Остров св. Маврикия, Лорензо-Маркез, Дурбэн, в бухту Алгоа и Капштадт. Оттуда—на Цейлон за распоряжениями; а оттуда—в Рангун за грузом риса для Рио-де-Жанейро. Затем в Буэнос-Айрес за маисом, который надлежало доставить в Великобританию или на континент, с остановкой в Сан-Винценте, где он получил приказ итти в Дублин. И вот два года четыре месяца—восемьсот пятьдесят дней, согласно корабельному журналу—он беспрестанно плавал взад и вперед по бесконечным морским улицам. Теперь он опять приплыл в Дублин. Усталость давала себя чувствовать.

К «Триапсику» подошел маленький катер, и под громкие крики команды старый морской скиталец был введен в порт. Канаты, брошенные с кормы и с носа, шлепнулись на берег. Судно причалило, и уже группа веселых зевак толпилась на берегу.

— Стоп машина!—скомандовал капитан Мак-Эльрат тихим голосом. Третий помощник передал его команду в машинное отделение.

— Давай сходни!—приказал второй помощник, и когда это было исполнено, произнес:—Готово!

Это «готово» означало роспуск команды,—поставить сходни было последней задачей. Путешествие было кончено. Весь экипаж с нетерпением бросился к своему багажу, который был уже приготовлен. Все люди давно мечтали о твердой земле, так же как и капитан. Мак-Эльрат простился с лоцманом и направился к своей каюте. На палубе уже стояли таможенные чиновники, инспектор, конторские служащие, полицейские агенты.

— Вы дали знать моей жене?—спросил капитан агента, вместо того чтобы поздороваться.

— Мы послали ей телеграмму, как только узнали о вашем прибытии.

— По всей вероятности, она приехала с утренним поездом,—заключил капитан, и вошел в свою каюту, чтобы умыться и переодеться.

Он в последний раз поглядел вокруг, и его взгляд остановился на двух фотографиях—его жены и ребенка, которого он еще не видел. Он заглянул и в кают-компанию, со стенами, украшенными кедровыми панелями, и вспомнил, как во все продолжение этого скучного путешествия он обедал здесь за этим длинным столом, около которого умещались десять человек. За столом никогда не было ни смеха, ни споров, ни оживленных бесед. Капитан обычно ел быстро и молча. Он был еще молчаливее, чем прислуживавшие ему азиаты. Капитану вдруг стало невыносимо жутко при мысли, как одинок он был за эти два года и четыре месяца. Он ни с кем не делился своими тревогами. Его помощники были слишком молоды и легкомысленны, а штурман отличался глупостью. Не с кем было даже посоветоваться. Его единственной спутницей за все это время была ответственность. С нею он сидел рядом за ужином, с нею разгуливал по палубе, с нею ложился спать.

— Ну,—пробормотал он своей страшной компаньонке,—теперь я с тобой разделался! По крайней мере, на некоторое время.

Отпустив на берегу матросов, нагруженных мешками, Мак-Эльрат с обычной своей медлительностью передал все дела в агентстве. От предложения выпить вина он отказался и попросил себе содовой воды.

— Я хоть и не член общества трезвости,—заметил он,—но всю жизнь терпеть не мог ни пива, ни виски.

После полудня, выплатив жалованье своей команде, он пошел в частную контору, где, как он знал, ожидала его жена.

Он прежде всего посмотрел на нее, хотя ему очень хотелось хорошенько разглядеть сидевшего с ней рядом ребенка. Он крепко ее обнял и поцеловал, а потом долго смотрел ей в лицо, удивляясь, как мало она изменилась за это время. По мнению жены, капитан Мак-Эльрат был очень добр и чуток, хотя офицеры и матросы считали его раздражительным и желчным.

— Ну, Анни, как дела?—спросил он, привлекая ее к себе.

И опять он невольно отстранился от нее, от этой почти незнакомой женщины, которая в течение уже десяти лет была его женою. Она была для него почти чужой,—более чужой, чем его китайская прислуга. Его помощники, с которыми он виделся ежедневно в продолжение восьмисот пятидесяти дней, были для него гораздо ближе, чем жена. Капитан был женат десять лет, и за все эти десять лет он провел с женою всего лишь девять недель. Возвращаясь домой, он каждый раз как бы заново знакомился с нею. Такова была участь всех людей, призванных вспахивать соленые поля морей. Все они очень мало знали своих жен и почти совсем не знали своих

детей. Близорукий Мак-Ферсон, старший механик, рассказывал, как он был однажды прогнан из дому своим маленьким четырехлетним сыном, который ни разу в жизни не видал отца.

— Вот какой у нас малютка,—произнес капитан, не совсем уверенно протягивая руку, чтобы потрепать ребенка по щеке. Но мальчик отстранился от него и потянулся к матери, как бы ища защиты.

— Ах,—воскликнула она,—он совсем не знает своего папы!

— И я его тоже. Не знаю, сумел ли бы я узнать его в толпе ребятишек, хотя, мне кажется, у него твой нос.

— И твои глаза, Дональд! Посмотри на них!.. Детка, это твой папа. Ну-ка, поцелуй его как следует!

Но ребенок еще крепче прижался к ней, при чем выражение страха и недоверия ясно отражалось на его лице, а когда отец попытался взять его на руки, ребенок чуть не раскричался.

Капитан встал и посмотрел на часы, желая скрыть свое невольное огорчение.

— Пора ехать, Анни,—сказал он.—Поезд скоро отходит.

Сидя в поезде, он сначала молчал. Он смотрел на жену, державшую на руках дремавшего ребенка, смотрел на засеянные поля и холмы, смутно выделявшиеся сквозь сетку мелкого, частого дождика. Они сидели в отдельном купе, ребенок уснул, мать уложила его и укутала платком. Расспросив жену о здоровье родных, о видах на урожай, о ценах на землю, капитан решил, что пора рассказать ей о себе. Он начал рассказывать, но его рассказ отнюдь не был похож на волшебную сказку о прекрасных цветущих странах или о таинственных восточных городах.

— Что это за остров Ява?—спросила она.

— Сплошные лихорадки. Почти все матросы заболели, невозможно было работать. Все только и делали, что глотали хинин. По утрам всей команде натощак раздавали хину и джин. Ну, конечно, после этого и здоровые притворялись больными.

В другой раз она спросила, хорошо ли в Ньюкэстле.

— Уголь и черная пыль—больше ничего. Пакостный городишко! У меня там удрали два китайца-истопника. Владельцам пришлось заплатить правительству штраф по сто фунтов за каждого. Я потом получил от владельца письмо в Орегоне. «Мы очень сожалеем,—писали они мне,—что из состава вашей команды бежали двое китайцев. Советуем вам впредь быть внимательнее». Внимательнее! Я и так смотрел за ними в оба. Каждому причиталось по сорок пять фунтов стерлингов жалованья. Я никак не мог подозревать, что они удерут. Это обычная их манера писать: «мы рекомендуем», да «мы советуем», да «нам кажется странным». Проклятая старая лохань! Они думают, что на ней можно итти, как на какой-нибудь

«Лукании», и, вдобавок, не тратя угля. А потом—сколько крови я себе перепортил с этим проклятым винтом. Старый был железный, погнутый по краям, мы не могли развивать с ним нужную скорость. Поставили новый из бронзы. Он обошелся в девятьсот фунтов, и владельцы решили во что бы то ни стало окупить его. А у меня был этот проклятый рейс, и мы все время ползали, как черепахи. «К нашему крайнему сожалению, мы должны указать вам, что ваш переход из Вальпарайзо в Сидней был очень продолжителен, вы шли в день со средней скоростью лишь в сто шестьдесят семь миль. Мы предполагали, что вы сумеете лучше использовать новый винт. Вы должны были делать по крайней мере двести шестнадцать». А ведь это было в разгар зимы. Дождь лил как из ведра, свирепствовали бури и ураганы; вдобавок у нас нехватило угля, и нам пришлось шесть дней скитаться по ветру, с застопоренными машинами. А этот болван штурман не мог по ночам смотреть спокойно на сигнальные огни встречных пароходов и всегда вызывал меня на мостик. Я все это им написал. А они мне в ответ: «Наш консультант по навигации находит, что вы слишком отклонились на юг», и «мы впредь ожидаем от нового винта лучших результатов». Консультант по навигации! Сухопутный лоцман! Подумаешь! Это была самая нормальная скорость для зимнего перехода от Вальпарайзо до Сиднея. Затем я отправился в Оклэнд, потому что у нас нехватило угля. Желая возместить убытки, вызванные потерею времени, я решил не нанимать лоцмана и сам ввел судно в порт. Там не было обязательным нанимать лоцмана. Потом отправляюсь в Иокогаму и встречаю там капитана Робинзона с «Диапсика». Мы начали с ним толковать о разных портах по дороге в Австралию, и он вдруг меня спрашивает:

«Скажите, пожалуйста, капитан, вы были когда-нибудь в Оклэнде?»

«Был,—говорю,—и даже очень недавно».

Тогда он посмотрел на меня не особенно дружелюбно.

«Значит, это я вам обязан получением от владельцев этого письма? «Вы поставили нам в счет пятнадцать фунтов за лоцмана в Оклэнде; недавно одно из наших судов заходило в Оклэндский порт, но не производило этого расхода. Считаем долгом вам заметить, что так как в расходе этом не встречалось и не встречается необходимости, то рекомендуем вам не делать таких напрасных трат в будущем».

А они, небось, не поблагодарили меня за то, что я сэкономил для них пятнадцать фунтов. Ни звука. Вместо этого они посылают капитану Робинзону письмо, упрекая его в расточительности, а мне пишут: «Вы ставите в вашем счете: «две гинеи доктору, приглашенному для команды», будьте любезны объяснить подробнее этот непредвиденный расход».

Я приглашал доктора для двух китайцев, ибо думал, что у них «бери-бери» [1]). Через неделю мне пришлось их похоронить в море, а они еще пишут: «будьте любезны объяснить подробнее этот непредвиденный расход». А капитану Робинзону: «так как в расходе этом не встречалось необходимости». А потом, разве я не телеграфировал им из Ньюкэстля, что мое старое корыто так прогнило, что его необходимо ввести в сухой док? Просидеть семь месяцев в сухом доке и на западном побережье! Поганое место, где всего легче издохнуть. Но у них, изволите ли видеть, был угольный фрахт на Портланд. «Аррата», один из пароходов Вур-Линии, вышел одновременно с нами и тоже отправился в Портланд. Старый «Триапсик» делал шесть узлов, максимум семь. И что же, в Комаксе, где грузили уголь, я получил от владельцев письмо. Оно было подписано главным директором, и в конце он приписал собственноручно: «Аррата» обогнала вас на четыре с половиной дня, весьма разочарован». Разочарован! Разве я им не телеграфировал из Ньюкэстля? Когда «Триапсика» поставили в портландский сухой док, так у него на днище торчали усы в фут длиною. Он весь был облеплен раковинами величиною с мой кулак и устрицами с тарелку. После него два дня пришлось выгребать из дока всякий мусор. А потом началась эта знаменитая история с колосниками в Ньюкэстле. Они были сделаны тяжелее, чем указано было в смете инженера, но завод забыл поставить в счет разницу в весе. И вот, когда я уже собирался покинуть берег, ко мне прибегают со счетом: «Тут произошла маленькая ошибка, вы должны доплатить шесть фунтов». Они успели побывать на судне и сказали мне, будто Мак-Ферсон пометил на счете: «правильно». Мне это показалось странным, и я не хотел платить.

«Неужели вы сомневаетесь в вашем старшем механике?»— спросили они.

«Я не сомневаюсь,—отвечал я,—но я не могу подписать этот счет. Поезжайте со мной на судно. Лодка вас доставит обратно, и это вам ничего не будет стоить. Мне надо поговорить с Мак-Ферсоном».

Но они не хотели отправляться на судно. Они мне прислали в Портланд счет по почте. Я не обратил на него никакого внимания. В Гонг-Конге я получил письмо от хозяев. Счет был послан им. С Явы я им написал в чем дело. В Марселе я опять получил от них письмо: «За дополнительные работы по машинному отделению шесть

---

[1]) „Бери-бери“ — заразная, очень тяжелая болезнь, распространенная в Японии, Австралии, на о. Цейлоне и на Малабарском берегу. Болезнь свирепствует преимущественно в то время года, когда прекращаются периодически дующие ветры.

фунтов. Старший механик подписал этот счет, а вы не заплатили. Вы, стало быть, сомневаетесь в его честности». Я написал, что не сомневаюсь, что это был счет за излишний вес колосников, и что всё это правильно. И что же,—они не подумали заплатить, а сказали, что сперва разберут дело. А тут какой-то конторщик заболел. Счет был потерян, и началась бесконечная переписка. Пришлось завести особое дело по доплате шести фунтов за колосники. Я получал по этому поводу письма и в Балтиморэ, и в бухте Делагоа, и в Можи, и в Рангуне, и в Рио, и в Монте-Видео. Дело и до сих пор не закончилось. Да, Анни, трудно угодить хозяевам.

Капитан задумался и затем негодующе пробормотал:

— Дело по доплате шести фунтов за колосники.

— Слыхал ли ты что-нибудь о Джимми?—спросила его жена после короткого молчания.

Капитан Мак-Эльрат отрицательно покачал головой.

— Его слизнуло с кормы вместе с тремя матросами.

— Где?

— У мыса Горн. Это случилось на «Торнсби».

— Они уже возвращались домой?

— Да,—сказала она.—Мы получили об этом известие только три дня назад. Его жена в полном отчаянии.

— Джимми был хороший парень,—заметил он,—только иногда любил выпить лишнее. Мы служили с ним вместе на «Абблоне» младшими помощниками. Стало быть, бедный Джимми погиб.

Наступило молчание, которое опять было нарушено женой.

— А ты ничего не слыхал о «Банкшайре»? Мак-Дугель потерпел на нем крушение в Магеллановом проливе. Об этом вчера писали в газетах.

— Магелланов пролив—скверное место, меня там едва не посадил на мель мой помощник, чтобы чорт его побрал. Вот был идиот! Вот дурак! Я его потом не пускал на мостик. Когда мы подходили к Нэрро-Рич, был здоровенный туман и валил густой снег. Я сидел у себя в каюте над картой и дал ему измененный курс. Я ему сказал: «Зюйд-ост-ост».—«Зюйд-ост-ост, сэр»,—ответил он. Через четверть часа поднимаюсь я на мостик.

«Удивительное дело,—говорит мне помощник,—совсем не помню, чтобы при входе в Нэрро-Рич были острова».

Я только посмотрел на острова и заорал рулевому:

«Клади руль на штирборт!»

Тут старый «Триапсик» сделал такой поворот, какого он не делал еще ни разу в жизни. Я выждал, пока перестал итти снег, и что же оказалось! Нэрро-Рич был к востоку от нас, а остров при входе в Ложную Бухту—к югу.

«Какой курс ты держал?»—спросил я рулевого.

«Зюйд-ост, сэр»,—отвечал он.

Я посмотрел на помощника. Что я могу ему сказать? Удивляюсь, как я не убил его на месте. Разница на четыре пункта! Еще пять минут—и старому «Триапсику» была бы крыша. Когда мы шли обратно на восток, случилось то же самое. Если бы была ясная погода, нам бы потребовалось на переход не более четырех часов, а тут мне пришлось провести на мостике сорок часов под ряд. Я дал помощнику курс и указал ему, что Асктарский маяк должен быть все время за кормою и не заходить больше чем до норд-веста. Затем я пошел к себе в каюту и решил вздремнуть. Но я так беспокоился, что никак не мог заснуть. В конце концов, проторчав на мостике сорок часов, можно проторчать и еще четыре, а ведь в эти четыре часа помощник мог погубить судно. Я умылся, выпил чашку крепкого кофе и пошел на мостик. Я чуть не умер от ужаса, взглянув на положение Асктарского маяка,—он был на норд-вест-вест, и старый «Триапсик» почти налез на мель. Ну, не болван ли был мой помощник! Можно было уже различить дно сквозь воду. «Триапсик» едва не погиб! Этот дурак в течение тридцати часов дважды едва не посадил его на мель.

Капитан Мак-Эльрат своими добрыми синими глазами посмотрел на ребенка, а жена, желая его развлечь, спросила:

— Помнишь Джимми Мак-Кауля? Вы вместе ходили в школу, когда были мальчиками. Ферма старого Мак-Кауля находится позади дома доктора Хэйторна.

— А что с ним случилось? Он умер?

— Нет, когда ты в последний раз уехал в Вальпарайзо, он пришел к твоему отцу и сросил его, бывал ли ты раньше в Вальпарайзо. Твой отец ответил, что нет. Джимми очень удивился и сказал:

«А как же он найдет туда дорогу?»

Твой отец ответил на это: «Это очень просто, Джимми; предположи, что ты пошел к кому-нибудь, кто живет в Бельфасте. Бельфаст большой город, там много улиц, а все-таки ты бы ведь нашел то, что тебе нужно.

«Это другое дело,—сказал Джимми.—Я бы всех спрашивал по дороге».

«Ну, что ж, и тут то же самое,—отвечал твой отец,,—так же и Дональд найдет дорогу в Вальпарайзо. Он будет спрашивать каждое судно, которое попадется ему навстречу, до тех пор, пока не повстречает такого, которое успело уже побывать в Вальпарайзо. Капитан этого судна и укажет ему дорогу».

Джимми почесал у себя за ухом и нашел, что это в самом деле очень просто.

Капитан расхохотался этой шутке, и его усталые глаза на секунду оживились.

— Этот младший помощник был удивительно странный малый. Он был такой же странный, как мы, когда мы бываем вместе,—заметил он, улыбаясь, но улыбка тотчас же исчезла с его губ, а глаза стали усталыми и тусклыми.

— Вообрази, что он выкинул в Вальпарайзо. Выгрузил шестьсот фатомов [1]) стального троса, не взяв с приемщика расписки. Я как раз в это время получал документы. Уж когда мы были в море, я стал искать расписку и не нашел ее.

«Стало быть, вы не взяли расписки»,—сказал я.

«А зачем же брать,—возразил он мне,—ведь трос пошел прямо нашим агентам».

«Вы плаваете по морю столько лет,—воскликнул я,—и до сих пор не знаете, что младший помощник обязан сдавать каждый груз под расписку, а в особенности на западном побережье! А что, если грузчики стянут несколько фатомов?»

Так и случилось, как я сказал. Выгружено было шестьсот фатомов, а наши агенты получили всего четыреста девяносто пять. Грузчики клялись, что больше там и не было. В Портланде я получил по этому поводу письмо от хозяев. Доставалось, разумеется, не моему помощнику, а мне, за то, что я находился на берегу во время разгрузки. Точно я мог бы быть одновременно в двух местах! И хозяева и агенты до сих пор пишут мне письма.

Да, мой помощник вовсе не был моряком и не годился для настоящей работы. Он хотел пожаловаться на меня торговой инспекции за то, что я взял слишком много груза. Он говорил это боцману и потом отчеканил мне прямо в глаза, что судно сидит на полдюйма ниже ватерлинии. Это было в Портланде, когда мы брали пресную воду и шли в Комакс за углем. Дело в том, Анни, что я действительно сидел на полдюйма ниже. Но это строго между нами. А эта скотина хотел донести на меня торговой инспекции и все время только и думал об этом, пока его не разрезало пополам на щите паровой трубы.

Он был просто болван! Когда мы уходили из Портланда, мне пришлось взять еще шестьдесят тонн угля, чтобы хватило до Комакса. Платить за лихтер [2]) я расположен не был, а места свободного около дока не было. Там стояла французская барка. Капитан ее согласился

---

[1]) Английский фатом или морская сажень = 6 англ. футам = 1,829 *м.*

[2]) Лихтер — вспомогательное судно для перевозки грузов.

уступить мне на несколько часов место, после того как он окончит свою дневную работу. Я спросил, сколько он возьмет с меня за это. «Двадцать долларов»,—отвечал он. Для владельцев это было все-таки выгоднее, чем брать лихтер, и я согласился. В ту же ночь, в темноте, я пристал и взял уголь. Я начал потом отходить под парами, чтобы стать далее на якорь. У нас что-то не ладилось в машине, а приходилось итти кормой вперед. Старый Мак-Ферсон заявил, что двигаться придется ручным ходом и очень тихо. Мы двинулись. Лоцман находился на борту. Навстречу нам было очень сильное течение, а невдалеке стояло на якоре судно; по обе стороны судна находились лихтеры, но на них не было сигнальных огней. Двигать в темноте такое большое судно было очень трудно, да, вдобавок, еще Мак-Ферсон давал обратный ход. Мы ткнулись в лихтер кормою в тот самый миг, когда я кричал Мак-Ферсону, указывая направление.

«Что это?»—спросил лоцман, когда мы наткнулись на лихтер.

«Не знаю,—ответил я.—Я сам удивляюсь».

Из этого ты можешь заключить, что лоцман был не очень опытный. Мы пришли к месту стоянки, бросили якорь, и все бы обошлось благополучно, если бы не этот дурак помощник.

«Мы разбили вдребезги тот лихтер»,—объявил он, взбираясь на мостик.

«Какой лихтер?»—спросил я.

«Тот, рядом с судном!»

Лоцман, конечно, начал прислушиваться.

«Я не видал никакого лихтера»,—сказал я и одновременно крепко наступил ему на ногу.

Когда лоцман ушел, я сказал помощнику:

«Если уж вы ни черта не понимаете, вы лучше не разевайте пасти».

«Да ведь мы же разбили лихтер».

«Ну и что ж?—сказал я.—Не ваше дело сообщать об этом лоцману, хотя, по-моему, там никакого лихтера и не было».

На следующее утро, не успел я одеться, приходит матрос и докладывает, что какой-то человек желает меня видеть.

«Давай его сюда»,—говорю я.

Является этот самый человек.

«Садитесь!»—говорю.

Он садится.

Оказывается, это был владелец лихтера. Когда он рассказал мне всю историю, я просто заявил ему, что не видал никакого лихтера.

«Как!—воскликнул он.—Вы не видали двухсоттонного лихтера у борта того судна? Да ведь он, по крайней мере, с дом величиной».

«Я руководствовался сигнальными огнями судна,—возразил я.— Судна я не задел, в этом я уверен».

«Да, но вы задели лихтер,—возразил он,—вы его разбили вдребезги. Вы наделали мне убытка на тысячу долларов, и вам придется их возместить».

«Вот что, сударь,—заявил я.—Согласно правилам, я по ночам обязан руководствоваться сигнальными огнями. На вашем лихтере их не было, а стало быть, я и не обязан был замечать его».

«Но ваш помощник говорит...»—начал он.

«Пошлите к чорту моего помощника,—возразил я.—Вы мне скажите,—были на вашем лихтере сигнальные огни?»

«Нет,—ответил он,—но ведь была ясная лунная ночь».

«Я вижу, что вы человек с головой,—сказал я.—Но позвольте вам доложить, что и у меня есть тут кое-что. Я не обязан замечать лихтеры, на которых нет сигнальных огней. Если вы хотите судиться, сделайте одолжение. Добрый день. Палубный вас проводит...»

К счастью, дело на этом и кончилось. Но видишь, какая стерва был этот помощник! Ей-богу, все капитаны должны благодарить небо за то, что его разрезало пополам у паровой трубы! Его держали только потому, что у него была в конторе протекция.

— Наши агенты сказали мне,—проговорила жена,—что ферма Веслей скоро будет продаваться.

Она украдкой взглянула на него, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут на него ее слова.

Глаза капитана радостно блеснули, и он выпрямился, как человек, преисполнившийся внезапной бодрости. Эта ферма была предметом его мечтаний. Она была расположена рядом с фермою его отца и на расстоянии полумили от фермы его тестя.

— Ладно, мы ее купим,—сказал он.—Только будем держать это в секрете, пока не выплатим за нее полностью. Я сколотил кое-что за это время, хотя теперь заработок и становится все хуже и хуже. У нас будет, наконец, свое собственное гнездо. Я поговорю с отцом и оставлю ему деньги, чтобы он мог купить ферму, даже если я буду в это время в море.

Капитан протер запотевшее изнутри окно и стал глядеть на равнины, окутанные непроницаемой пеленой дождя.

— В молодости я всегда боялся, что хозяева прогонят меня. Откровенно говоря, я и до сих пор этого побаиваюсь. Но когда у меня будет своя ферма, я больше не буду этого бояться. Да, быть морским фермером—это трудное занятие. Я работаю на всех морях, подвергаюсь всевозможным опасностям на судне, которое стоит пятьдесят тысяч фунтов, с грузом, который стоит иногда сто тысяч

фунтов,—полмиллиона долларов, как говорят янки. И что ж? За эту ответственную работу я получаю какие-нибудь двадцать фунтов в месяц. Разве на суше кто-нибудь согласился бы управлять имением, стоящим сотни тысяч, и получать за это двадцать фунтов? А сколько у меня хозяев! И владельцы, и фрахтовщики, и всякие там торговые инспекции. Владельцы требуют быстрых переходов и не желают знать никаких опасностей. Фрахтовщики требуют безопасных переходов и не считаются со временем. Торговая инспекция взывает к осторожности. А осторожность всегда ведет к разным задержкам. Три хозяина—и все готовы накостылять тебе шею, если ты их не ублажишь.

Почувствовав, что поезд замедляет ход, капитан опять подошел к запотевшему окну. Затем, подняв воротник и застегнув пальто, он неловко взял на руки спавшего ребенка.

— Я передам отцу деньги,—сказал он,—чтобы земля была куплена при первой возможности, на случай, если я буду в это время в плавании. Старик, я знаю, не даст маху. А тогда пусть хозяева прогоняют меня, когда им угодно. Мне будет на это наплевать! Я буду с тобою, Анни, а море может провалиться в тартарары.

При этой мысли лица их прояснились, а перед глазами у обоих одновременно возникло желанное мирное видение. Анни наклонилась к нему, и когда поезд остановился, он нежно поцеловал ее, стараясь не разбудить мирно спавшего младенца.

САМУЭЛЬ

Маргарэт Хэнэн была особой весьма замечательной во всех отношениях, но она в особенности поразила меня, когда я увидал ее в первый раз. Она взвалила себе на плечи стофунтовый мешок зерна и несла его как ни в чем не бывало от телеги к сараю, остановившись лишь на одно мгновение передохнуть, прежде чем подниматься по лестнице, ведущей к закромам. Всех ступенек было четыре, и она поднималась по ним так спокойно и уверенно, что не оставалось никаких сомнений в том, что она донесет мешок, хотя ее худое и тощее тело все изогнулось под его тяжестью. Видно было, что она очень стара. Потому-то я и задержался у телеги, наблюдая за нею.

Шесть раз прошла она расстояние между телегой и сараем, каждый раз с полным мешком на плечах; и хотя я стоял на виду, она не обращала на меня никакого внимания. Когда телега опустела, она полезла за спичками и закурила коротенькую глиняную трубочку, прижимая табак заскорузлым и, повидимому, онемелым пальцем. У нее были замечательные руки,—широкие, костлявые, обезображенные работой мозолистые руки с тупыми, поломанными ногтями, покрытые заживающими и свежими царапинами; такие руки обычно бывают у людей, занятых тяжелым физическим трудом. О ее возрасте можно было судить по сильно выступавшим на руках синим венам. Не верилось, что эти руки принадлежали женщине, которая некогда считалась первой красавицей острова Мак-Джилля. Впрочем, об этом я узнал лишь много времени спустя. Тогда я не знал ни ее самой, ни ее биографии.

Большие, грубые мужские сапоги, надетые на босу-ногу, при ходьбе болтались и били ее по тощим икрам. На ней была мужская рубаха и рваная юбка из некогда красной фланели. Фигура у нее была бесформенна, но особенно поразило меня ее морщинистое изнуренное лицо, обрамленное шапкой косматых волос. Ни эти косматые волосы, ни темные морщины не могли скрыть ее прекрасного высокого лба.

Впалые щеки и горбатый нос мало соответствовали ее блестящим голубым глазам. Несмотря на множество окружавших морщин, глаза

эти были ясны, как у молодой девушки, а их острый пронизывающий взгляд мог хоть кого привести в замешательство. Глаза у Маргарэт были при этом очень своеобразно поставлены. Обычно расстояние между глазами бывает не больше длины глаза, а у нее это расстояние было чуть ли не в полтора раза больше. Но особенность эта вследствие поразительной симметричности лица отнюдь не производила неприятного впечатления. Случайный наблюдатель мог вполне не заметить этого. Ее беззубый рот, с опущенными углами сухих и тонких губ, не отвисал, как это часто бывает у старух. Ее губы можно было бы принять за губы мумии, если бы не присущее им выражение страшного упорства. Они не были безжизненными, напротив, в них было какое-то напряжение, выражавшее одухотворенную решимость. В этих глазах и губах таился ключ той уверенности, с которой она втаскивала тяжелые мешки по крутым ступенькам, не оступаясь и не теряя равновесия.

— Вы старая женщина и так работаете,—решился я сказать.

Она взглянула на меня пристальным, странным взглядом, думая и говоря с характерной для нее медлительностью, словно она была уверена в своей вечности и вовсе не считала нужным торопиться. Снова меня поразила ее безмерная уверенность в себе. Ее твердая походка была, казалось, тоже результатом этой самоуверенности. В своей духовной жизни она, повидимому, так же мало рисковала оступиться, как когда таскала стофунтовые мешки с зерном. Она производила на меня жутковатое впечатление.

Как ни мало я знал ее, я уже чувствовал, что у меня не может с ней быть ничего общего. Чем ближе я узнавал ее в течение последующих недель, тем сильнее чувствовал свою отчужденность от нее. Она представлялась мне гостьей с другой планеты, и ни я, ни кто-либо из моих земляков не могли проникнуть в мир ее душевных переживаний, не могли понять, каким образом она стала такою.

— Через две недели после великой пятницы мне исполнится семьдесят два года,—сказала она в ответ на мое замечание.

— Я и говорю, что вы слишком стары для такой работы,—повторил я.—Ведь это работа мужчины, да еще здорового мужчины.

Но она уже погрузилась в созерцание вечности, и это было так странно, что я не удивился бы, если бы мне сказали, что прошло сто лет или еще больше, прежде чем я услышал ее ответ:

— Ведь надо же делать эту работу. А помочь мне некому.

— Неужели у вас нет детей или родных?

— О, их у меня хоть пруд пруди, да разве они станут мне помогать!

Она на секунду вынула изо рта трубку и сказала, кивнув на дом:

— Я живу сама по себе.

Я поглядел на крепкий дом, крытый соломой, на большие амбары и на обширные поля, принадлежавшие этой же ферме.

— Разве можно одной обрабатывать такой большой участок?

— Да, участок большой—семьдесят акров. Мой старик много повозился с ним. Ему помогал сын, да наемный работник, да поденщики во время уборки, да девка, исполнявшая домашнюю работу.

Взобравшись на телегу, она взяла вожжи и спросила, кинув на меня проницательный взгляд:

— Вы, наверное, с той стороны океана?

— Да, я американец,—ответил я.

— Вы, небось, в Америке ни разу не встречали ни одного жителя Мак-Джилля?

— Никогда не встречал.

Она кивнула головой.

— Они домоседы, хотя нельзя сказать, чтобы они были неспособны путешествовать. Всех их, однако, тянет домой, и они всегда возвращаются во-свояси,—конечно, если не погибают где-нибудь на чужбине от лихорадки.

— Значит, ваши сыновья были моряками и вернулись домой?

— Да, все кроме Самуэля,—Самуэль утонул.

Я готов поклясться, что при упоминании Самуэля глаза у нее блеснули, и я почувствовал острое чувство соболезнования. Мне почудилось, что тут лежит ключ ко всем ее тайнам и объяснение всех ее странностей. Мне показалось, что между нами пробежал некий ток, и я заглянул ей в душу. Я хотел уже расспросить ее, но она вдруг причмокнула губами, хлестнула лошадь и, крикнув мне: «Добрый день!»—уехала.

Жители Мак-Джилля—простой и славный народ, и я думаю, что во всем мире нет более трезвых и трудолюбивых людей. Если встретить их за границей (только на море, ибо они—смесь моряков и фермеров), то их нельзя принять за ирландцев. Сами они считают себя за ирландцев, с гордостью говорят об Ирландии и подшучивают над своими братьями-шотландцами. Тем не менее, они, несомненно, шотландцы—правда, переселившиеся много лет назад, но все же шотландцы, со всеми их характерными чертами, не говоря уже об особенности их мягкого произношения, которое лучше всего доказывает их шотландское происхождение.

Узкая полоса воды в полмили шириною отделяет остров Мак-Джилль от Ирландии. Но стоит только переехать оттуда на Мак-Джилль, чтобы очутиться в совершенно другой стране. Шотландское влияние чувствуется очень сильно: все жители острова Мак-Джилля

пресвитериане и настолько трезвы, что на всем острове нет ни одного кабака, хотя живет там семь тысяч человек. Живут они по-старинке: общественное мнение для них—высший закон; духовенство пользуется неоспоримым влиянием; родителям повинуются и уважают их так, как нигде. Всякое ухаживание прекращается в десять часов вечера, и без согласия родителей ни одна девушка не решится даже пойти гулять со своим возлюбленным.

Молодые люди часто отправляются в море, разгульная портовая жизнь засоряет их души, и однако, возвращаясь после своих путешествий, они снова ведут строгую, воздержанную жизнь, ухаживают до десяти часов вечера, каждое воскресенье бывают в церкви и слушают проповедника, а дома выслушивают знакомые с детства строгие наставления. Эти моряки-скитальцы знавали за морем немало женщин, однако никто из них никогда не привозил себе жен из-за границы. Единственным исключением был школьный учитель, осрамившийся тем, что взял себе жену за полмили, по ту сторону «воды». Ему этого так и не простили до самой смерти. Когда он умер, жена его вернулась к своим родным, жившим на том берегу,—и пятно на гербе острова Мак-Джилля, таким образом, было смыто. Обычно кончалось тем, что моряки женились на девушках своего родного острова, начинали вести строгую и честную жизнь и становились образцами тех добродетелей, которыми славился остров.

Остров Мак-Джилль не имел истории. Он не мог похвастаться ни одним происшествием, которое было бы достойно попасть на страницы истории. На острове никогда не было ни революционных выступлений, ни заговоров, ни аграрных беспорядков. Там был только один случай лишения владения, и то чисто формальный—просто опыт, произведенный владельцем по совету адвоката.

У острова Мак-Джилля не было летописи. История шла мимо него. Он исправно платил подати, признавал своих коронованных повелителей и держался в стороне от всего мира; взамен он требовал только одного: чтобы и мир оставил его в покое. Вселенная делилась на две части—на остров Мак-Джилль и на весь остальной мир. Все, что не было островом Мак-Джиллем, было чуждым и даже варварским; все жители это знали, да и не могли не знать. Их соотечественники-мореходы достаточно хорошо изучили другие безбожные страны.

В первый раз в жизни я услышал об острове Мак-Джилле от шкипера пароходика из Глазго, на котором я ехал в качестве пассажира из Коломбо в Рангун; этот же шкипер снабдил меня письмом к некоей миссис Росс, вдове капитана, жившей с дочерью и двумя сыновьями—тоже капитанами, бывшими в то время на море. Миссис Росс не сдавала комнат, но благодаря письму шкипера мне удалось

у нее поселиться. Однажды вечером, после встречи моей с Маргарэт Хэнэн, я заговорил о ней с миссис Росс и сразу понял, что я напал на нечто действительно весьма таинственное.

Миссис Росс, подобно всем остальным жителям острова, сначала не хотела говорить со мною о Маргарэт Хэнэн. Однако она все же сообщила мне, что Маргарэт Хэнэн была некогда первой красавицей на острове. Будучи дочерью весьма зажиточного фермера, она вышла замуж за некоего Томаса Хэнэн, человека вполне обеспеченного и независимого. Ей совсем не приходилось исполнять тяжелую работу. Кроме домашнего хозяйства, она ничем не занималась и, не в пример своим соотечественницам, никогда не работала в поле.

— А что случилось с ее детьми?—спросил я.

— Двое ее сыновей—Джэми и Тимоти—женаты и плавают в море. Джэми принадлежит большой дом рядом с почтой. Незамужние дочери живут вместе с ними.

— А остальные умерли?

— Самуэли?—спросила Клара с оттенком иронии в голосе.

Клара была дочерью миссис Росс. Это была молодая красивая женщина с превосходной фигурой и чудесными черными глазами.

— Ты чего усмехаешься?—с упреком сказала мать.

— Почему Самуэли?—спросил я.—Я не понимаю.

— Так звали четырех ее умерших сыновей.

— Как! Их всех звали Самуэлями?

— Да.

— Странно!—заметил я при всеобщем молчании.

— Да, очень странно,—подтвердила миссис Росс, продолжая вязать шерстяную фуфайку, лежавшую у нее на коленях. Она постоянно вязала эти фуфайки для своих сыновей-шкиперов.

— Так неужели только Самуэли умерли?—продолжал я, пытаясь поддержать этот разговор.

— Прочие живы до сих пор,—отвечала она.—Отличное семейство. Лучшего не найти на всем острове. И моряков таких никогда не было на Мак-Джилле. Пастор всегда ставил их всем в пример. Да и о девушках нельзя сказать ничего дурного.

— Но как же они решились покинуть ее одну на старости лет?—заметил я.—Как же ее родные дети не позаботятся о ней? Она живет совсем одна. Неужели они не могут помочь ей в работе?

— Нет. И это продолжается уже двадцать один год. Но она сама в этом виновата. Она всех их выгнала из дому, а старого Томаса Хэнэна, который был ее мужем, она вогнала в гроб.

— Пила?—рискнул я спросить.

Миссис Росс с презрением покачала головой: такая слабость не была знакома жителям острова Мак-Джилля.

Наступило молчание, в продолжение которого миссис Росс упорно вязала и оторвалась на миг от вязанья лишь для того, чтобы кивком разрешить молодому штурману парусной шхуны, жениху Клары, пойти погулять с ее дочерью. Я в это время рассматривал страусовые яйца, висевшие в углу подобно гигантским плодам. На каждом был грубо намалеван морской пейзаж—бурное море, по которому плыли суда с надутыми парусами, при чем отсутствие перспективы искупалось точным соблюдением разных технических подробностей. На камине стояли две огромные раковины с резьбой, исполненной терпеливыми руками преступников из Новой Каледонии. Посередине каминной полки помещалось чучело райской птицы, а по всей комнате были разбросаны огромные раковины Южных Морей; хрупкие кораллы особой породы «пи-пи» помещались под стеклом; тут были ассагоны из Южной Африки, каменные топоры из Новой Гвинеи, большие вышитые кисеты из Аляски, с изображением всевозможных геральдических рисунков, бумеранги из Австралии, модели судов в стеклянных банках, чашка для «кай-кай» людоедов с Маркизовых островов, резные китайские и индейские шкатулки с перламутровыми и деревянными инкрустациями.

Глядя на эти трофеи, привезенные сыновьями-моряками, я размышлял о тайне Маргарэт Хэнэн, вогнавшей в гроб своего мужа и покинутой собственными детьми. Она не пила. В чем же дело? Может быть, причиною была жестокость или какая-нибудь неслыханная измена? Или, может быть, страшное преступление,—из тех, которые подчас случаются в деревнях?

Я по очереди высказал свои догадки, но миссис Росс отрицательно качала головой.

— Не в том дело,—сказала она.—Маргарэт была честной женой и хорошей матерью. Я уверена, что она никогда и мухи не обидела. Она отлично воспитала своих детей и держала их в страхе божием. Вся беда в том, что она свихнулась—стала форменной дурой.

И миссис Росс многозначительно постучала себе по лбу.

— Но я разговаривал с ней сегодня утром,—заметил я.—По-моему, напротив, она очень не глупая женщина, а для своих лет замечательно толковая.

— Все это так,—спокойно подтвердила Росс,—я про это и не говорю. Я говорю о ее диком, преступном упрямстве. Более упрямой женщины еще не было на свете. И все это из-за Самуэля. Так звали ее младшего и, говорят, любимого брата, покончившего с собой из-за ошибки пастора, не зарегистрировавшего в Дублине новой церкви. Ясно было, что имя это приносит несчастье, но она и слышать об этом не хотела. Сколько было об этом толков, когда она назвала Самуэлем своего старшего ребенка, того самого, который

умер от крупа. И что же! Когда родился второй, она опять назвала его Самуэлем. Трех лет отроду он свалился в кипящий котел и сварился. И все это из-за ее проклятого упрямства! Она во что бы то ни стало хотела иметь сына Самуэля. В результате у нее умерло четыре сына. После смерти первого ее мать валялась у нее в ногах и умоляла больше не называть мальчиков Самуэлями. Но ее невозможно было уговорить. Когда дело касалось Самуэлей, Маргарэт Хэнэн всегда поступала по-своему.

Она была помешана на этом имени. Все ее друзья и родные демонстративно ушли из ее дома, когда крестили второго сына—того, который сварился. Они удалились в ту минуту, когда пастор спросил, какое имя дать ребенку, и она ответила: «Самуэль». Они все встали и вышли из дому. Тетка Фанни, сестра ее матери, уходя обернулась и сказала так, что все слышали: «Зачем она хочет погубить невинного малютку?» Пастор это слышал и тоже был недоволен, но, как он потом говорил моему Ларри, ничего не мог поделать. Она этого хотела, а нет закона, запрещающего матери называть сына по своему желанию.

И третьего сына она опять назвала Самуэлем. А когда он погиб в океане, она пошла против всех законов природы и родила четвертого! Вы только подумайте! Ей было сорок семь лет. Родить в сорок семь лет! Вот был скандал!

На следующее утро Клара рассказала мне историю любимого брата Маргарэт; в течение недели из разных расспросов я, наконец, восстановил трагическую историю Маргарэт Хэнэн. Самуэль Дэнди был младшим ее братом, и, по словам Клары, Маргарэт не чаяла в нем души. Он был уже капитаном одного из парусников «Банк-Лайн», когда ему вздумалось жениться на Агнессе Хьюитт. Она была, по описанию, хрупкой и болезненной девушкой, очень нежной и очень чувствительной. Их свадьба была первой свадьбой в новой церкви; по прошествии двух недель Самуэлю пришлось распрощаться со своей молодой женой и отплыть в море на большой четырехмачтовой шхуне «Логбанк».

Роковая ошибка пастора произошла именно из-за этой новой церкви. Правда, один из старшин впоследствии объяснил, что это не было, собственно, его ошибкой, что виновата была консистория, управлявшая пятнадцатью церквами острова Мак-Джилля. Старая церковь совсем развалилась, ее нельзя было даже починить, а потому ее сломали и на старом фундаменте построили новую церковь. Глядя на ее фундамент, имевший форму корабельного киля, пастор,

да и никто другой, не мог и вообразить, что новая церковь будет менее законной, чем старая.

— В течение первой недели,—рассказала мне Клара,—в новой церкви были обвенчаны три пары. Первыми обвенчались Самуэль Дэнди и Агнесса Хьюитт; потом Альберт Махан и Минни Дункан; в конце недели—Эдди Трой и Фло Мэкинтош—все моряки.

Последний из них отправился в плавание через шесть недель, и никто не подозревал, какое несчастье готовит им судьба.

Очевидно, сам дьявол впутался в это дело. И то сказать,—ему это было на руку. Свадьбы происходили в мае, а через три месяца, как полагается, пастор представил дублинским властям свой отчет за треть года. Но в ответ пришло извещение, что церковь не утверждена законом, ибо не была своевременно зарегистрирована. Церковь сейчас же была узаконена путем регистрации, но не так просто было узаконить браки. Все три мужа плавали в море, а их жены... их жены-то вовсе не были их женами.

Священник не хотел смущать народ,—продолжала Клара,—и созвал совет, на котором было решено дождаться возвращения молодых людей. И вот однажды, когда пастор крестил кого-то на дальнем конце острова, внезапно вернулся Альберт Махан, судно которого прибыло в Дублин. Священник узнал об этом в девять часов вечера, когда уже надевал свои ночные туфли и собирался ложиться спать. Он тотчас вскочил, велел заложить лошадь и помчался прямо к Альберту. Альберт ложился спать и уже стаскивал сапоги.

«Ступайте за мною,—кричит им пастор,—оба ступайте!»

«С какой стати,—возражает Альберт,—я устал до смерти и хочу спать».

«Вам нужно законно обвенчаться»,—говорит пастор.

Альберт мрачно посмотрел на него и говорит:

«Знаете что, пастор, я не люблю этаких шуток!»—а про себя думает: «Как это пастора угораздило так нализаться?»

«Разве мы не повенчаны?»—спрашивает Минни.

Пастор отрицательно качает головой.

«Разве я не миссис Махан?»

«Нет,—отвечает он,—вы только мисс Дункан».

«Да ведь вы же сами нас повенчали»,—говорит она.

«И да и нет»,—отвечает пастор.

Когда он, наконец, рассказал им в чем дело, Альберт надел сапоги, и они отправились вместе с пастором, чтобы законно обвенчаться. Альберт Махан частенько говорил потом, что не каждому доводилось два раза венчаться на острове Мак-Джилле.

Через шесть месяцев вернулся домой Эдди Трой, и его тоже обвенчали вторично. Но Самуэль Дэнди отправился в плавание на

три года, и его судно не вернулось в срок. Как на грех у его жены на руках был двухлетний ребенок, ожидавший возвращения отца. Шли месяцы, бедная жена худела и страшно беспокоилась.

«Я думаю не о себе,—бывало, говорила она,—а об этом бедном малютке без отца. Кем он будет, если что-нибудь случится с Самуэлем».

Ллойд занес «Логбанк» в список погибших судов и перестал выплачивать его жене половину жалованья. Вопрос о законности ребенка так ее мучил, что когда была потеряна всякая надежда па возвращение Самуэля, она вместе с ребенком утопилась в озере. Но вот тут-то и начинается самое главное несчастье. «Логбанк» вовсе не погиб. Вследствие всяких неудач и частых задержек он сделал такой крюк, какой приходится делать судам, быть может, раз в пятьдесят лет. Вот, вероятно, радовался при этом дьявол! Когда Самуэль вернулся и узнал ужасную новость,—у него что-то случилось в мозгу и в сердце. На следующее утро его нашли на могиле жены и ребенка, где он пытался покончить жизнь самоубийством. Никто еще никогда так страшно не умирал на острове Мак-Джилле. Он плевал пастору в лицо, ругался и так кощунствовал перед смертью, что все окружающие дрожали от ужаса.

И все-таки, несмотря на это, Маргарэт Хэнэн назвала своего первого сына Самуэлем.

Ничем нельзя объяснить упрямство этой женщины. У нее была какая-то болезненная потребность назвать ребенка Самуэлем. Ее третий ребенок был, к счастью, девочкой, которую она назвала своим именем, но четвертый ребенок был опять мальчиком. Несмотря на все эти несчастья, она непременно решила назвать ребенка Самуэлем в честь рокового брата. Теперь все стали ее избегать даже в церкви. Мать Маргарэт прямо сказала, что если та назовет ребенка этим проклятым именем,—она никогда не будет с нею разговаривать. И старуха сдержала слово, хотя прожила еще тридцать лет. Пастор согласился окрестить ребенка каким угодно именем, кроме Самуэля. Все другие пасторы на острове Мак-Джилле говорили то же самое. Маргарэт Хэнэн хотела даже подавать на них в суд, но потом взяла и отвезла ребенка в Бельфаст; там его и окрестили Самуэлем.

Ничего плохого не случилось. Весь остров был поражен. Мальчишка рос и чувствовал себя превосходно. Учитель не мог им нахвалиться. К всеобщему удивлению, ребенок даже не хворал никакими детскими болезнями. У него не было ни кори, ни свинки, ни скарлатины. Он был абсолютно невосприимчив к болезням. У него никогда не болела голова, никогда не стреляло в ушах, у него па коже не было никогда ни одного чирия или прыщика. Мальчик всех

превзошел в учении и в атлетике. Он и ростом был выше всех своих сверстников.

Маргарэт Хэнэн торжествовала. Этот удивительный мальчик был ее сыном и вдобавок носил ее любимое имя. Все родные и знакомые, за исключением ее матери, помирились с ней и признали, что они ошибались, хотя некоторые старухи продолжали упорствовать и мрачно шушукались между собой за чашкой чая. Мальчик был слишком необыкновенный, чтобы долго жить, а кроме того, проклятье, несомненно, тяготело над ним. Молодежь стояла за Маргарэт и смеялась над суевериями; но старые вороны продолжали каркать.

После этого родились другие дети. Пятым ребенком был опять мальчик, которого Маргарэт назвала Джэми, а затем одна за другой родились три девочки—Алиса, Сара, Нора; затем мальчик Тимоти и еще две девочки—Флоренс и Кэтти. Кэтти была одиннадцатой и последней. Маргарэт Хэнэн в тридцать пять лет на этом решила остановиться. Нужно сказать, что она верой и правдой послужила острову. У нее было девять здоровых детей. Все они быстро развивались. Маргарэт казалось, что рок вполне удовлетворился гибелью двух ее мальчиков. У нее было девять детей, но один из них назывался Самуэлем.

Джэми решил сделаться моряком, не по своей, правда, воле, а потому, что на острове Мак-Джилле установился обычай отправлять младших сыновей в плавание, а старших—сажать на землю. Тимоти последовал примеру Джэми, и когда тот в первый раз принял командование пароходом, вышедшим из Кардифа, Тимоти был младшим помощником на большом парусном судне. Но Самуэль не имел особенной склонности к оседлой жизни. Ферма мало его привлекала. Его братья стали моряками не по склонности, а потому что это был единственный способ прокормить себя и семью; он же, который в этом не нуждался, завидовал им, когда они возвращались из плавания и, сидя у очага, рассказывали о своих приключениях и о чудесах далеких стран.

Самуэль сделался учителем, что вовсе не нравилось его отцу, и даже получил какую-то ученую степень, сдав экзамен в Бельфасте. Когда старый учитель вышел в отставку, Самуэль занял его место. Тайком он продолжал изучать мореплавание, и старая Маргарэт любила слушать, как он сбивал в теоретических навигационных вопросах своих братьев, хотя они уже достигли звания штурманов. Том Хэнэн пришел в страшную ярость, когда Самуэль—школьный учитель, джентльмен и вдобавок наследник фермы—взял и отправился в плавание простым матросом на парусном судне. Маргарэт твердо верила в счастливую звезду своего сына и была уверена, что все, что он ни делает,—к лучшему. И в самом деле, Самуэль, бывший

исключительным человеком во всех областях, и тут проявил себя в полном блеске: на свете не было еще моряка, который бы повышался на службе так быстро, как Самуэль. Проведя в море всего два года в качестве матроса, он был уже временно произведен в младшие помощники. Это назначение он получил в одном из портов западного побережья, славящегося своими лихорадками, и комиссия из шкиперов, экзаменовавшая его, должна была признать, что он знал по навигации больше, чем знали они сами. Через два года он отбыл из Ливерпуля штурманом на «Стэрри Грэйс», имея в кармане капитанский диплом. И вот тогда-то произошло то событие, о котором уже в течение многих лет каркали старые вороны.

Его рассказал мне Гэвин Мак-Нэб, уроженец Мак-Джилля, служивший боцманом на «Стэрри Грэйс».

— Я очень хорошо все это помню,—говорил он.—Мы шли на восток, и разразилась ужасная буря. Самуэль Хэнэн был превосходным моряком, другого такого я не видел в своей жизни. Я отлично помню выражение его лица в тот роковой день. Море бушевало вокруг, швыряя нашу шхуну, а капитан уже несколько дней пьянствовал у себя в каюте. В семь часов Хэнэн поставил шхуну к ветру, не рискуя больше бороться с ураганом. В восемь часов, после утреннего чая, он снова вышел на мостик, а через полчаса туда же явился и капитан, выпучив глаза и еле держась на ногах.

Буря свирепствовала как никогда, а он стоял, шатаясь, икая и разговаривая сам с собой.

«Клади руль!»—крикнул он вдруг рулевому.

«Помилуй вас бог!»—воскликнул младший помощник, стоявший рядом с ним. Но капитан продолжал бормотать что-то себе под нос. Вдруг он опять гаркнул рулевому во все горло:

«Клади руль, чорт тебя дери! Оглох ты, что ли? Клади руль!»

Очевидно, пьяным везет, потому что иначе ничем нельзя объяснить, каким образом «Стэрри Грэйс» шел при такой погоде, не зачерпнув ни одного ведра воды, хотя нужно сказать, что помощники старались во-всю, а матросы носились как сумасшедшие. Капитан самодовольно хихикнул и отправился в каюту, чтобы хлопнуть еще виски. Он, очевидно, решил всех нас этим поразить, ибо самое большое судно не могло бы итти при такой буре. Я в жизни не видал ничего подобного. Нельзя даже вообразить, что творилось на море, а я ведь плаваю уже сорок лет, начав еще мальчишкой. Ей-богу, это было нечто неслыханное.

Младший помощник побледнел как смерть. Простояв на мостике полчаса, он спустился вниз и послал себе на смену Самуэля. Ах, какой моряк был этот Самуэль! Но даже он с трудом выдерживал.

Он глядел по сторонам и думал, что предпринять, и ничего не мог придумать. Прежде чем судно могло бы взять правильный курс, с него смыло бы всю команду и его разбило бы вдрызг. Ничего не оставалось, как продолжать итти дальше. Мы все равно знали, что всем нам пришла крышка, и что если ветер усилится, всех нас смоет в море.

Я, кажется, сказал, что бог послал эту бурю. Нет! Скорее ее накликал на нас сам дьявол. Я видал виды на своем веку, смею вас уверить, но я бы не хотел вторично пережить такую бурю. Никто не решался оставаться в каюте. На палубе тоже никого не было. Все матросы столпились на мостике и наблюдали, держась за что попало. Трое помощников стояли на корме, и только эта пьяная скотина капитан валялся внизу в каюте.

Вдруг я вижу, что на расстоянии мили от нас поднимается такая огромная волна, какой я никогда в жизни не видал. Трое помощников, стоявшие рядом со мною, тоже заметили ее приближение, и все мы начали молиться, чтобы она не обрушилась на нас. Но, очевидно, не так-то было угодно богу. Перед самым носом судна волна вдруг взвилась чуть ли не до неба, подобно огромной горе, при чем штурманы бросились в разные стороны, второй и третий помощники полезли на бизань-мачту, но старший помощник—Самуэль Хэнэн—ах, какой был храбрый человек!—бросился к рулевым, чтобы помочь им. Он не думал о себе, а думал только о спасении судна.

Двое рулевых были привязаны к штурвалу, но он хотел их заменить на тот случай, если бы они погибли. И вот тут-то волна и обрушилась на нас. Мы, стоя на мостике, не могли видеть кормы, масса воды в тысячу тонн залила ее. Эта волна начисто смыла все и утащила всех за собою—и двух помощников, которые полезли на бизань-мачту, и Самуэля Хэнэна, и двух рулевых у штурвала, и самый штурвал. Мы больше никогда не видели их. Судно наше стало кружиться волчком, при чем утонули еще два матроса, бывшие с нами на мостике. Потом на корме мы нашли труп плотника, превращенного в какой-то кисель. У него не осталось ни одной целой косточки.

Тут-то и начинается самое удивительное, рисующее в ярких красках своеобразный героизм этой женщины. Маргарэт Хэнэн было сорок семь лет, когда она узнала о гибели Самуэля. И вот через некоторое время по острову Мак-Джиллю распространился удивительный слух. Это было невероятно! Никто не хотел верить. Доктор Холл фыркал, и все смеялись, словно это была просто-напросто остроумная шутка. Узнали, что сплетня исходит от Сары Дэк—служанки Хэнэн, жившей в их доме. Все тотчас решили, что Сара Дэк просто врет, хотя сама она клялась и божилась, что все это правда. Кто-то решился

даже спросить однажды самого Тома Хэнэн, но тот только ругался и чертыхался в ответ.

Сплетня затихла на то время, когда весь остров был занят обсуждением гибели «Гренобля» в Китайском море. На «Гренобле» погибли все офицеры и весь экипаж, половина которого состояла из уроженцев Мак-Джилля. Но потом сплетня снова воскресла. Сара Дэк продолжала настаивать. Том Хэнэн начал смотреть все мрачнее и мрачнее, и даже доктор Холл, побывав у Хэнэн, перестал фыркать. Ну, тут уж весь остров встрепенулся, и у всех стали чесаться языки. Это было против всех законов божеских и человеческих. Никогда еще не было ничего подобного. Когда наступил срок, и нельзя было уже сомневаться в правдивости показаний Сары Дэк, все в один голос решили, подобно боцману «Стэрри Грэйс», что тут не обошлось без чорта. Сара Дэк рассказывала, между прочим, что Маргарэт Хэнэн была убеждена в том, что у нее родится мальчик.

«Я родила одиннадцать детей,—говорила она,—шестерых девочек и пятерых мальчиков. Во всем должен быть ровный счет. Шесть мальчиков и шесть девочек—вот вам и ровный счет. Я уверена, что у меня будет мальчик. Это так же несомненно, как то, что солнце встает каждое утро».

И действительно, родился мальчик, и притом какой-то удивительный. Доктор Холл восхищался его крепким и здоровым сложением и даже написал статью в «Дублинском Медицинском Обозрении», где указывал, что это был самый интересный случай в его практике за последние несколько лет. Сара Дэк всем рассказывала о невероятном весе ребенка, и опять ей никто не верил, и все говорили, что она привирает. Но когда ее слова были подтверждены доктором Холлом, который сам взвешивал и осматривал ребенка, то жители Мак-Джилля поневоле прикусили язык и должны были уже верить всем слухам, которые распространяла Сара Дэк о росте и аппетите ребенка. И однажды Маргарэт Хэнэн снесла мальчика в Бельфаст и назвала его при крещении Самуэлем.

— Это был не ребенок, а золото,—говорила мне Сара Дэк.

Я познакомился с Сарой Дэк, когда она была уже почтенной старушкой, лет шестидесяти, при чем ей сопутствовала такая трагическая и необыкновенная репутация, что если бы ее язык болтал еще десятки лет, то и тогда она продолжала бы оставаться героиней всех местных кумушек.

— Да, не ребенок, а золото,—повторяла Сара Дэк.—Он никогда не капризничал, а сидел себе спокойно на солнышке, пока, бывало, не проголодается. А какой он был сильный! Он сжимал ручками,

как взрослый мужчина. Через несколько часов после рождения он так схватил меня, что я закричала от боли. А какое у него было превосходное здоровье! Он спал, ел, рос и никому не мешал. Он ни разу никого не разбудил ночью, даже когда у него прорезывались зубы. А Маргарэт носила его на руках и все говорила, что второго такого красавца нет во всем Соединенном Королевстве.

А как он рос! Как быстро он рос и как много ел! В год он был ростом с иного двухлетнего. Только в ходьбе и в разговоре он почему-то отставал. Ползал на четвереньках, издавал горлом какие-то звуки—и больше ничего. Это, конечно, можно было объяснить его чересчур быстрым ростом. А он все рос и становился все здоровее. Сам Старый Хэнэн удивлялся его силе и говорил, что в Великобритании не найти другого такого мальчугана. Доктор Холл первый высказал одно подозрение, но тогда, помню, я и не подумала, чем это может кончиться. Я припоминаю, как он показывал маленькому Самми какие-то вещицы, производившие шум. Он подносил их ему к ушам, потом показывал издалека. Кончив свое исследование, доктор ушел, хмуря лоб и недовольно качая головой, словно ребенок был болен. Но я готова была поклясться, что он здоров: об этом свидетельствовали его быстрый рост и хороший аппетит. Доктор Холл не сказал Маргарэт ни слова, и я никак не могла понять, что его огорчает

Я хорошо помню, как маленький Самми в первый раз заговорил. Ему было всего два года, но ростом он был с пятилетнего ребенка, и все ползал на четвереньках, никому не мешая и всегда довольный, если его часто кормили. Я как раз развешивала белье, вдруг он вылез на четвереньках, болтая головой и моргая от яркого солнца. И вот тут он заговорил. Я так испугалась, что едва не умерла; я сразу поняла, почему доктор Холл печально качал головой. Да, он заговорил. Смею вас уверить, что ни один еще ребенок на острове Мак-Джилле не говорил так громко. Я так и задрожала от ужаса. Маленький Самми вопил, он выл как осел,—да, именно, как осел. Он ревел так громко, весело и долго, что казалось, у него лопнут легкие.

Самми был идиотом,—ужасным, чудовищным идиотом, и доктор Холл сказал об этом Маргарэт, после того как мальчик заговорил. Но мать не хотела ему верить. Она утверждала, что это обойдется, и приписывала все слишком быстрому росту.

«Подождите,—говорила она,—вы увидите».

Но старый Том Хэнэн понял в чем дело, и с тех пор его трудно было узнать. Он ненавидел это существо, не хотел даже касаться до него, хотя когда-то любовался им целыми часами. Я часто видела, как он с ужасом смотрел на него из-за угла. А когда мальчик

начинал реветь, старый Том затыкал себе уши, и на него страшно и жалко было смотреть.

Как мальчуган ревел! Больше он ни на что не был способен, разве только на то, чтобы расти. Когда он был голоден, он начинал завывать, и унять его можно было только пищей. Каждое утро он на четвереньках вылезал из дома, грелся на солнце и ревел. Из-за этого-то рева он и погиб в конце концов.

Я очень хорошо все это помню. Ему было всего три года, хотя на вид ему можно было свободно дать все десять. А старый Том чувствовал себя хуже и хуже: ходит в поле за плугом и все разговаривает сам с собой, бормочет.

Я помню, как он сидел в тот день на скамейке у кухонной двери и прилаживал новую рукоятку к своему заступу. Вдруг выполз его ужасный сын и начал реветь, по обыкновению, жмурясь от солнца. Я видела, как старый Том выпучил глаза и смотрел на чудовище, ревевшее перед ним, точно осел. Том не мог этого выдержать, и что-то стряслось с ним. Он вдруг вскочил и изо всех сил хватил чудовище рукояткой заступа по голове, и все бил и бил, словно это была бешеная собака. Затем он прямо отправился в конюшню и повесился там на перекладине. Ну, после этого я уже не могла оставаться у них и перешла к своей сестре, которая вышла за Джона Мертина и отлично живет.

Сидя на скамейке возле кухни, я поглядывал на Маргарэт Хэнэн, которая в это время прижимала табак в трубке закорузлым пальцем и смотрела на поля, подернутые вечерним сумраком. На этой скамейке сидел и Том Хэнэн в тот ужасный день его жизни. А Маргарэт сидела на тех самых ступеньках, где грелся на солнце, мотал головой и ревел страшный идиот. Мы беседовали с ней около часу, и она все время говорила с той медлительностью, которая так шла к ней: она словно созерцала вечность.

Я никак не мог понять, какими мотивами руководствовалось в своем упорстве это удивительное существо. Хотела ли она пострадать за правду? Или она втайне поклонялась какому-то неизвестному божеству? Может быть, она думала, что служит отвлеченной правде—высшей цели человека—в тот далекий день, когда назвала своего первенца Самуэлем. Или это было просто ослиное упрямство? Упорство кобылы с норовом? Тупое упрямство крестьянского ума? Или это было капризом? Фантазией? Была ли она безумною только в этой части своего рассудка, или, напротив, в ней жил дух Бруно [1])?

[1]) Джордано Бруно сожжен на костре инквизицией за свои философские взгляды (в 1600 г., в Риме).

Была ли она убеждена в своей логической последовательности? Хотела ли она воспротивиться глупому суеверию своих сограждан, или, наоборот, ею самою руководило суеверие, особого рода фатализм, альфой и омегой которого было старинное имя—Самуэль.

— Скажите,—говорила она мне,—неужели, если бы я назвала второго Самуэля Лэри, он не сварился бы в котле с кипятком? Скажите, сэр, это останется между нами,—вы как будто образованный человек,—неужели имя играет какую-нибудь роль? Неужели я бы не стирала в тот день, если бы он был Лэри или Майкель? Неужели кипяток не был бы кипятком, и неужели он не ошпарил бы ребенка, если бы его звали не Самуэлем, а иначе?

Я подтвердил правильность ее рассуждений, и она продолжала:

— Неужели имя может изменить предначертание господа? Значит, мир управляется кем-то другим, а бог—просто слабое капризное существо, которое решается изменять вечный ход вещей только потому, что какой-то червь—Маргарэт Хэнэн—назвала своего ребенка Самуэлем. Вот, например, мой сын Джэми не взял в свою команду какого-то Рушэн-Фэнна, говоря, что тот накличет на них бурю. Что это, по-вашему? Неужели бог, создавший мир, будет слушаться какого-то вонючего Рушэн-Фэнна, сидящего где-то на борту грязной шхуны?

Я сказал, что она безусловно права; но она продолжала развивать свою мысль.

— Неужели бог, который управляет движением небесных светил, и для могучих ног которого весь мир только подставка,—неужели вы думаете, что он может назло Маргарэт Хэнэн послать огромную волну, которая бы смыла ее сына у Мыса Доброй Надежды только потому, что она назвала его Самуэлем?

— Но почему именно Самуэль?

— Не знаю. Так мне захотелось.

— Но почему вам этого хотелось?

— Да как же я могу вам на это ответить? Я думаю, никто в мире этого не знает. Разве можно ответить, почему или отчего? Мой Джэми, например, так любит сливки, что когда нет их, он, по его собственному выражению, готов проглотить язык. А Тимоти сливок в рот не берет. Я вот люблю слушать, как гремит гром, а моя Кэтти во время грозы залезает под перину. Только бог может знать, почему или отчего. Мы, смертные, этого не знаем. Довольно с нас того, что нам нравится или не нравится. Мне нравится—вот и все. А почему нравится,—этого никто не может знать. Мне вот нравится имя Самуэль. Это чудесное имя, и в самом звуке есть что-то непостижимое и чарующее.

Сумерки сгущались, и я молча смотрел на прекрасный, пощаженный временем лоб Маргарэт, на ее широко-расставленные глаза, ясные и пронизывающие. Она встала, как бы давая мне понять, что пора уходить.

— Вам будет темно возвращаться,—сказала она.—Пожалуй, будет дождь.

— А что, Маргарэт,—спросил я вдруг без всякой задней мысли.—Вы никогда ни о чем не сожалеете?

Она посмотрела на меня внимательно.

— Мне жаль, что я не родила еще одного сына.

— И вы бы...—произнес я.

— Да, конечно,—перебила она,—я бы дала ему то же имя.

Возвращаясь домой по темной дороге меж ивовых плетней, я думал о всех этих «почему» и повторял то громко, то тихо: «Самуэль». Я вслушивался в это сочетание звуков, бывшее причиной стольких трагедий в жизни Маргарэт Хэнэн. В этом звучании, в этом имени было что-то чарующее. Да, было!

СОДЕРЖАНИЕ

ИГРА

ПЕРВОБЫТНЫЙ ЗВЕРЬ

СИЛА СИЛЬНЫХ